

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ЛАЗАРЕТ

Фрагменты книги

Фреска вторая. Южная стена

Алексей

Леса, тайга. Человек это медведь. Он родом из тайги. Его чудом не подстрелили. Он ушёл, сминая лапами бурелом, страшно ревел, зализывал раны, зализывал прошлое. Вот ещё один затерянный в тайге пряничный городок призрачно восстал из слоёных снегов. Меня здесь не в тюрьму определили – Бог дал роздых от решёток и прочных замков: меня поселили в чернобрёвенный тёплый, щедро натопленный дом, там в каждой комнате, и в гостиной, и в столовой, и в кухне, и в каждой спальне печка уютилась. В кухне – громадная русская печь, в таких печах раньше крестьяне мылись; в других комнатах – голландки и подтопки. И все хозяин исправно топил. Рано утром, ещё затемно, растапливал. Я блаженствовал в тепле. Чувствовал себя царём в тереме. Предложил хозяину: давайте я у вас Литургию буду служить? В гостиной! А впрочем, где хотите. Где скажете.

Хозяин, крепкий старик, плечи шире слезы, погладил смоляную курдючную бороду: да ведь я старовер, мил человек. Раскольник я. По-старому крещусь, по-старому молюсь. Два перста священны, наибольший чуть согнут, смирение это пред Господом, а три, наименьшие, и одинокий, наисильнейший, вот они-то слагаются во истинную и неделимую Троицу. Вашими троеперстиями сами себя презренно, торопливо солите,

аки осетра на зиму. А вашему Никону завсегда проклятья посылаем! Нет у Бога ни староверов, ни нововеров, ни иноверов, тихо сказал я. Креститесь как хотите. А только Литургия Иоанна Златоуста она и есть Литургия Иоанна Златоуста. И делу конец. Никто её не переписывал с четвёртого века, никто на кострах не сжигал. Хотя, может, кто-то и хотел. Да не смог. Молитесь со мной, рядом вставайте! Христос и Тот на Голгофе грешника простил. Если мы возлюбим друг друга, а не возненавидим, точно в Раю будем!

Так получил я разрешение служить. И совершал Литургию Иоанна Златоуста и Василия Великого и Всенощное бдение. Вместо диакона у нас была диаконисса, престарелая супруга хозяина, старше его на много лет; я думал сначала, это мать его.

Из снега, вьюги и тумана на пороге, в клубах пара, как конь, явился ко мне старик монах; он попросил рукоположить его во иеромонаха. Глядел на меня, глаза расширив.

– Что ты так смотришь, отче?

Монах прикрыл глаза морщинистыми тяжёлыми веками.

– Я вас во сне видел. Такого, как вы есть.

– Во сне? Да разве это диво? Нам всем снятся сны.

– Но я видел вас, вас.

Я вынужден был согласиться.

Литургию служил, за Литургией старика во иеромонахи рукоположил. Передаётся огонь веков. Мы никто не знаем, как и кому мы будем огонь передавать; но кому назначено его нести, тот несёт, из рук не выпускает. Сейчас тюрьма казалась мне сном. И, как во сне, творил я, следом за Литургией, тяжелейшую операцию врождённой катаракты трём мальчикам, слепой тройне, и они прозрели, и мать их бросалась передо мной на колени, ползла за мной на животе и целовала край моей рясы. Я клал руку ей на голову и плакал вместе с ней. Мальчики, после того, как я снял повязки, сидели на кровати и жмурились. Им больно было посмотреть на свет. Когда зрительный нерв привык к освещению, они открыли глаза. И все трое враз, хором, закричали.

Кричали безостановочно! От радости.

Потом умолкли.

Колени мои подогнулись, и я сел на койку в палате, поблизости от прозревших, и сидел молча, без сил. А мать мальчиков сидела передо мной на полу, как Мария, скрестив ноги, во время оно смиренно сидела перед Христом, пока Марфа на кухне хлопотала, и всё подносила подол рясы моей к губам, и всё целовала, и рясой моей слёзы себе вытирала.

Ряса моя больше не пребывала измызганной: в том староверском чернобрёвённом, приземистом и мощном, как спящий в берлоге медведь, доме я впервые, за всё время долгого путешествия, её выстирал, старовер мне дал лохань и лазурное мыло, и я стирал рясу тщательно, старательнее любой бабы, так долго, что она под ладонями моими начала разлезаться в дыры, и тогда я остановился, выжал её и развесил во дворе, на морозе, и она замёрзла и встала колом, и сделалась твёрдой, как огромный вяленый таймень.

В том доме, того бородатого могучего старовера, мне пришлось видение. Я уж привык к тому, что вижу то, чего видеть нельзя. Лег спать. Старовер стелил мне, по моей просьбе, не в комнате, а в сенцах. Там стоял ночной холод, и я укрывался кроме одеяла ещё и овечьим тулупом. Изобильная овечья шерсть хорошо согревала меня. Иногда я боялся ночи, иногда нет. Именно ночью приходили видения. Сначала я

боролся с ними. Не хотел видеть; не хотел знать. Потом перестал восставать. Принял всё происходящее. Смирился.

Смирение и терпение. Вот что главное.

Так работает Дух, дитя мое. Дух в тебе, но он превыше тебя. Это ты приходишь к Нему, Параклету Утешителю, прочными стежками, а не он к тебе. Помни это.

Закрыв я глаза, натянул овечью шкуру себе на голову. Стал дышать внутрь тулупа. Согревался. Потом башку выпростал. Дышал холодом. Наслаждение, когда сам весь в тепле, а дышишь лёгким морозцем. Иней затянул стёкла. Крохотные оконца синё, лазуритово переливались, по ним медленно бродили ледяные хвощи, зимние васильки и колокольчики. Я уже прочитал вечернее правило, но захотел ещё помолиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного... Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, молитв ради Пречистой Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас...

И только хотел сказать: аминь, – увидал.

Широкий, льдиной плывущий по невидимой реке, стол. Стол-ладья. Стол-корабль. Деревянная палуба чуть накренилась. За столом люди сидят. Много людей. Невозможно сосчитать. Ползут вдаль и вбок, расширяются края стола. Люди появляются из ничего, из плотной тьмы. Садятся за стол, стоят за спинами сидящих. Тех, кому повезло. Люди едят. Наливают из бутылей в разномастные сосуды и пьют. Кто сидит на полу, у ног пирующих, и играет на неведомых музыкальных инструментах; я вижу, как пальцы перебирают струны, я слышу непонятную, никогда мною не слыханную музыку. Стол завален едой и питьем, фрукты горят драгоценно, жареное мясо вспыхивает золотой корочкой, сок течёт на серебряное блюдо из разрезанных лимонов, апельсинов. А вот ломти ветчины. А вон огромная миска с ягодами, земляника, черника! Яйца навалены белой горой! Пироги плывут сдобными крупными рыбами. Осетр возлежит, бревном в полстола, острые костяные наросты, морда узкая, острая, и зелень из неё пучком торчит. Рубины икры, и витая царская ложка воткнута! Слитки масла, только с мороза, застылого! Себе, внутри видения, шепчу: может, это я просто жрать хочу, голоден я, вот и привидится всякое. Красное вино мерцает в бокалах. Вино зря сравнивают с кровью. Кровь непрозрачна. Прозрачна только слеза. Кровавая слеза. Человек сидит по центру стола, по правую руку его сидит красавица. Глаз не отвести. Русые толстые косы; одна за спину закинута, другая перекинута на грудь и распущена. Глазами косит вниз и вбок. Нежная улыбка. Молчит. У главного человека за праздничным столом тоже струятся по плечам длинные волосы. Он не глядит на женщину праворучь, глядит вперёд. Нет. Он глядит в себя. Внутри.

И я понимаю: этот человек – не человек. Он – Время.

Он глядит внутрь себя, а потом веки его вздрагивают, и внезапно он начинает глядеть внутрь меня.

Мне от этого взгляда страшно. И в то же время счастье, нет ему предела, обнимает меня. Спаситель! Ты ли это! Сотрапезничаю ли я с Тобой, пусть даже так, во сне! Руки человека раскинуты, на столе лежат, брошены двумя кусками хлеба, струятся по столу смуглой водой, две смертные дрожачие реки. Бессмертные! Женщина рядом с ним медленно поднимает глаза, в меня двумя безумными птицами летит забытая синева. Синь, праздник! Живого можно убить, и глаза сомкнутся навсегда. До Страшного Суда. Руки Господа раскинуты по столу,

Он предлагает нам, мне присоединиться к пиру. Поешь, смертный! Всё так красиво! Всё так ярко и вкусно! Жизнь, наслаждение! Радость! Видишь, в застолье не только ученики Мои, но и народ, Мне неведомый, числом великий, его Я не знаю, но вижу, и он Меня не знает, забыл, но Я вижу здесь тебя, верный слуга Мой, и не робей, угостись! Еда людская – еда Божия! Я учил о хлебе и вине, о плоти и крови Моей, а гляди, какое изобилие, сколько здесь удивления, изумления, сколько незримого и несказуемого! Вкуси! Иной век! Я превратился во Время. Измеряй Мною течение общей реки, если сможешь, осмелишься измерить. И понимай одно: мы тут пируем, а там, куда Я гляжу неотступно, идёт война.

Идёт война!

Зимняя. Летняя. Вечная.

Вижу: все жадно едят богатые яства, а Господь и женщина близ Него вкушают лишь хлеб и отпивают из хрустальных бокалов лишь красное вино. Женщина отламывает от лепешки тонкими пальцами маленькие куски, прежде чем съесть, держит на ладони, как живую птицу. Господь не глядит на неё. Он глядит вперёд. Он, не видя, находит на столе бутылку с вином, не глядя, в сосуд наливает. Я пытаюсь поймать Его взгляд. Вот опять Он смотрит внутрь меня и сквозь меня. Навылет.

Его смерть ещё только будет? Она впереди? Или Он уже воскрес, и я вижу пир Второго Пришествия? Губы Его сомкнуты, глаза закрываются, и я слышу Его голос внутри себя: ЭТО НЕ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО ПРАЗДНИК ВЕЛИКИЙ

Кричу Ему безмолвно: понял, Господи, Пасха это Твоя, Ты воскрес нынче!

Я ВОСКРЕС НАВСЕГДА Я ВЕЗДЕ И ВСЮДУ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ

Женщина не глядит на Него. Она глядит на меня.

Зачем она глядит на меня?

ЭТО ПРАЗДНИК ТВОЙ ТВОЯ БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ТВОЯ ЭТО СВАДЬБА Я СЕГОДНЯ ТВОЙ ГОСТЬ НА ВЕЛИКОЙ СВАДЬБЕ ТВОЕЙ

Я в смятении. Моя? Зачем? С кем? С ней? Синеглазой? Синие глаза летят в меня, а стол вдруг всплывает из тьмы, надвигается, укрупняется, айсбергом синим, камчатным поднимается из глубин страдания, еле несёт на себе, на своем заботливом горбе, тяжелые россыпи невиданной, роскошной снеди, плывёт, белый ледяной кит, и не удерживает искусных блюд, валятся медные тарелки с Райскими мандаринами и Райскими яблоками, падает и в брызги разбивается драгоценный фарфор с темной свежатиной-дичью, жареными зайцами и куропатками, бешенствуя, валятся и весело катятся прочь дыни, сливы и турмалины вишен, и пироги, пироги, что так долго стряпали бедные бабы, засаживая их на противнях в печь и отирая ладонями со лба трудовой пот, ещё теплые, как бабье тело, пироги разлетаются сдобными лебедями по трапезной, а стены исчезают, и вместо них над столом, над сотрапезниками поднимается небо, оно всё выше и выше, оно уходит вдаль и вверх, всё вверх и вверх, оно не падает, оно растёт, как синий ствол, синяя нежная крона, вся в золотых звёздных искрах, и увлекает нас за собой, наши глаза и руки, наши исстрадавшиеся души, они тянутся за небом, мы тянемся, мы хотим там – жить!

Мы – здесь хотим жить!

Господи! Остави нам живот наш!

И это моя свадьба! Моя, Он сказал! С кем?! С кем?!

Где, Господи, невеста моя?!

И тогда Он поднял обе руки и обернул их ко мне ладонями.

И я смотрел, и на каждой ладони Его я видел лик невесты своей.

И я узнал её.

И я перевел глаза свои на лицо женщины, что сидела праворучь от Господа моего.

А она тихо улыбалась и все отщипывала, отламывала крохи от подгорелой лепешки, похожей на круглую печальную Луну.

Не Иоанн ли это, ученик Твой любимый, Господи? Не Магдалина ли это, любимая ученица Твоя? Не пришлая ли это нищая дева, что постучалась сюда, в трапезную, пришедши с улицы, желая заработать медный грош и предлагая себя трудницей после окончания могучего пира? Посуду перемыть... объедки на задворки выбросить... кошкам, собакам...

ГЛЯДИ КАКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ НА НЕЙ НА НЕВЕСТЕ ТВОЕЙ

Я глядел один миг, а мне казалось, века, и запомнил. Камни. Простые камни. Дыры в них просверлены, и на веревку они нанизаны.

Камни. Белые камни. Дыры в них не человек просверлил. Нет. Ветер, море. Солёная вода.

Ветер. За столом поднялся ветер. Он налетел ниоткуда. Мял и крутил одежды. Рвал волосы. Бил людей по щекам. Скидывал с гладкой льдины стола всё, что там ещё оставалось, что возвышалось и сияло, маня, притягивая, соблазняя. Ветер резко сорвал со стола скатерть, уже там и сям заляпанную вином, и стол обнажился, стал голым, как тогда, когда мастер только что сработал его и вышел он из рук сурового плотника, как он есть – неоструганный, нагой, свежий, шершавый, в живую ладонь втыкающий занозы, резко и свежо пахнущий вчера ещё живым деревом. Люди со страху попадали на пол. Закрыли затылки, уши, лица руками. Заползли под стол, в его спасительную тень. Возник и усиливался вой. Это ветер выл? Это люди выли? Ветер выл волком, а люди вторили ему. Люди, внутри страха, звучали убитой, забытой природой: их голоса потеряли сиюминутные слова, о, где же Ты, Сыне и Слове Божий? Я воззрился на невесту мою. Я увидел: её одежды есть зеркало. Они отражают одежды Господа. Только всё перевёрнуто; во Вселенной всё так и летит, падает, а значит, воздымается, взлетает, нет, валится в пропасть, рождается, нет, умирает, умирает, нет, Господи, рождается в жизнь Иную, в Иномірие, да будет тебе, страдалец, отныне утешение: Второе Пришествие грядёт, верь, но Старый Мирь при этом уйдёт, умрёт, и небеса, вспомни огненное Иоанново пророчество, совьются в свиток.

Господь все ещё Царём сидел за столом в синем небесном хитоне и в красном плаще, а невеста моя, имени я не ведал её, сидела праворучь Его в алом кровавом хитоне и в синем плаще. Синева её плаща слепила мне глаза; вот ещё тогда, девочка моя, я понял, я узнал, что ослепну и перестану видеть Мирь Божий. И тут же, маловерный, сказал себе: да нет, никогда я не ослепну! Господь зла не попустит! Он навсегда, насовсем оставит мне зрение мое, чтобы я и впредь оперировал, от верной смерти людей спасал! Господи! А может! Может! Если я так ясно вижу будущее, и своё, и других! Может быть! В виде ещё одного чуда Твоего! Ты! Сделаешь так! Что я! Именно я! Никогда! Не...

Я не успел додумать. С полу вскочил лежащий. Гладко выбритый. В белой врачебной маске. Он взбросил руку и протянул вперёд. Вытянул

указательный палец. Перед лицом моей невесты. Он прокалывал пальцем туманный воздух, клубящийся вихрь. Я проследил за живой указкой. Палец человека в маске показывал на лик Господа моего. Палец, живой нож. Пальцем можно разрезать, проколоть, если скальпеля нет. Чудо? Да разве Господь не совершает чудеса каждый день, каждый миг? По вере вашей воздастся вам.

Я встал с лавки. Овечий тулуп, за ним одеяло сползли с меня и упали на выставшие за ночь половицы. Я видел: колени моей невесты укрыты точно таким же овечьим тулупом. Значит ли это, что она встала из-за стола, шагнула вперед, наклонилась и подобрала с пола мой тулуп, и укутала себе замёрзшие на ветру ноги? Босые ноги, босые. Они жалко и умилённо торчали из-под мощной шкуры. Господь встал легко и быстро. Улыбнулся светло. Легко толкнул рукой стол, и он упал, перевернулся, покатился вниз по земным ступеням. А их обоих, Господа моего и невесту мою, обступало небо. Оно наливалось чистой синью. А глаза невесты моей наливались слезами. Она смотрела на меня неотступно, не мигая, и глаза её всё наполнились слезами, и наконец слёзы выкатились и тихо потекли по щекам, по подбородку, по шее, затекали за ворот красного хитона, пропитанного кровью всех раненых, всех, кого я когда-либо на земле оперировал, и я чуть не закричал от великой боли, меня крепко обнявшей, и от великой радости, видеть их, любимых, созерцать, пока ещё лицезреть, пока ещё смеяться и плакать вместе с ними, пока ещё перевернутый стол, крича сломанными деревянными ногами и деревянным ртом, бедною льдиной уплывает вниз по реке, пока небо набрасывает им, любимым, на плечи свой синий ветхий хитон, свои овечьи, нежные, шерстяные, тёплые облака.

Я проснулся. Меня трясло от холода. Лежал голый. Потянулся, поднял с пола тулуп, одеяло, накрылся с головой. Дышал под одеялом и так согрелся.

Мне приснилось: я опять на войне. Да враг говорит не по-вражески, а по-русски. Не иноземец он, а славянин. Я понимаю, знаю: война наша не на жизнь, а на смерть, и я должен его убить. Стихи тут ходили по рукам, в списках: сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей! Меня новые враги захватили в плен. Поставили в квадратном каменном колодце, наподобие того, где мы тоскливо гуляли в тюрьме, заплатка василькового неба моталась высоко над головой, и приказали: стой! И смотри.

Иди и смотри, вспомнил я Откровение св. Иоанна Богослова, писанное им на острове Патмос в Эгейском море. То я был, я, воистину, тогда я был Иоанном, Христа любимым учеником, и вороньим пером процарапывал на пергамене страшные письма, да, взрезал скальпелем птичьего пера кромешный ужас Мира, потрудись, хирург, работёнка не из легких. Я горазд был на рисование писем, и мастак в лечебных людей, и тела живые разрезал направо и налево, и кромсал, и зашивал, на ста войнах побывал, и вот опять война, она, видать, в грешный Мирь влюблена. Почему и мы, и враги на одном языке кричим? Мы – один народ? Мы – один народ!

Я стоял и смотрел. И думал. Да, мы один народ. Нас разделили. Грубо раскромсали. Раскроили особо острым скальпелем. Да не сшили. Некому было зашивать разрез. И скобы не накладывали, и бинтами не обматывали. Рана выворачивалась наружу. Земля орала. Люди блажили, стонали и ревели. Хрипели. Выгибались коромыслом, умирая. Умиряли. А я стоял в каменном безглазом дворе, думал и ждал.

Вывели пленных. Пинками уложили на камни. Люди лежали на животах, изгибали шеи, пытаясь рассмотреть мучителей. Их пытали. Рубахи в крови. У иных глаза выколоты, кровь сургучными сгустками в глазницах запеклась. Подошёл мужик, рукава выше локтей закатаны. Палач. Пистолет в руке. Шёл и стрелял. Каждому в затылок. Я стоял один у стены, стена сложена из мрачных, грязных, странных синих кирпичей; призрачные синие кирпичи, каждый, светились изнутри светляками преисподней. Я стоял и смотрел. Не отводил глаз. Очень страшно. Сейчас меня. Вот только до последнего святого дойдёт – его убьёт – и ко мне повернётся.

Они все святые. Святые. Все. Кто так погиб, в страданиях, истязаемый. Я себя в святые не записываю. Нельзя о себе так думать. Я просто вижу и запоминаю. Память, вот что приносит мне муки. Память, пытка. Не отогнать, ни сжечь. Всё, что я увидел здесь, навек со мной. Даже если я умру. Я этот расстрел с собой в могилу унесу.

А – мечь? А – отомстить?

За моих святых? За родных?

Война – это мечь. Так людям понятнее. Война идёт потому, что мы защищаем родной народ и мстим чужому народу за поругание и гибель народа родного.

Но почему, почему мы говорим на одном языке?!

Проснуться, скорей проснуться, шептал я себе, вокруг очень холодно, я в тайге, я внутри зимы, я арестованный, я поселенец, прочь, война, на завтрак староверская семья ест овсяную кашу с постным маслом, и мне тарелку нальют, и я посолою кашу серой крупной солью и буду зачерпывать из оловянной миски гладко обточенной деревянной ложкой, и дуть на ложку, ох, горячая, и вспоминать страшный полночный сон.

– Ты! Оккупант! Сволочь! Сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей!

Палач кричал на чистом русском языке.

Я глядел ему в лицо, он глядел в моё, и мы сверкали собою-зеркала-ми друг на друга, испепеляя друг друга отражённым огнём.

– Было бы в руках оружие, я бы тебя убил!

Это я крикнул, я. Или он?

Он оскалился и поднял руку с пистолетом.

– Вы! Все! Готовьтесь! Скоро вам будет сюрприз! Подарочек! Нежданчик! Аккурат в годовщину войны! Мы-то помним, когда она началась! И кто её начал! А вы, чую, забыли! Так мы вам напомним! Напомним! Огненный пирог! Будете жрать! Уплетать за обе щеки! До отвала нажрётесь!

– Ты дурень. Не понимаешь ничего. Войну уже не остановить. Мы победим. Это вы будете жрать и огонь, и землю.

– Мы должны вас победить, дряни! У нас другого выхода нет!

Рот пересох. Глотка смёрзлась. Мне нечем было кричать.

– Это мы вас поборем! Раздавим! Под сапогами нашими будете... корчиться...

Всё крепче сжимая рукоять пистолета, аж пальцы посинели, он подходил ко мне.

Или это я подходил к нему.

– Это я тебя сейчас раздавлю! Расстреляю! Уничтожу тебя! И тебя – не будет! Больше! Никогда!

Ствол уперся мне в лоб.

Я ничего не чувствовал. Надо было бояться дальше. А страх исчез.

– Снайпер с такого расстояния не попадет.

– Издеваешься?! Спинай повернись!

– Не повернись.

У него небритое, синее лицо волнами ненависти вспучилось, вздымало, уродливо перекошилось.

– Развернись, ну!

Он не мог смотреть мне в глаза.

Хотя глазами мои глаза – искал.

Я это видел.

– Нет. Я хочу видеть.

– Что видеть, будь ты проклят!

– Всё.

– Что – всё?!

– Как ты меня расстреляешь. Но ты меня не расстреляешь.

– Что мелешь!

– Я знаю.

– Что ты знаешь, ублюдок!

– Я вижу.

– Что – видишь?!

Я смотрел вглубь его бешено расширяющихся, ледяно сужающихся зрачков. Зрачки бились внутри радужки, играли, раздувались и опадали. Превращались в чёрные иглы. Прокалывали меня насквозь. Опять взрывались непроглядной тьмой.

– Всё.

– Всё, всё... всё!..

Я глубоко вздохнул. Хотел сказать палачу: всё необратимо. И мы врага несколько не боимся. И мы не допустим ни капитуляции, ни рабства, ни казни на виду у всего Мира, ни наказания, ни блокады. Ничего этого не будет. Никогда. А будет наша победа. Только победа.

– Будет наша победа! Только победа! – крикнул он, и я близко видел его красную волчью пасть и красный дрожащий язык меж зубов.

– Разбей меня. Я твоё зеркало, – тихо сказал я.

Он судорожно ощупывал глазами моё лицо, мой рот, сказавший это.

– Да что ты... брешешь...

– Что слышал. Убей скорее! Гляди, – я показал рукой на мёртвых, лежавших ничком на камнях, – они уже тебе слова не скажут. И они уже тебя не победят.

Он ухмыльнулся. Я видел, он мелко дрожит.

– Но придут другие. Много других. Их много. У нас воюет вся страна. Вы называете нас тюрьмой. Но весь народ, все, кто на свободе и кто в тюрьме, идут на войну. С вами. С тобой. И завтра сюда придут и убьют тебя. И всех вас, кто мучит, пытается, казнит. Слышишь?

– Заткнись!

Он всё ещё стоял, надавливая стволом мне на голый лоб.

– Не веришь? Так и будет. Я вижу!

Он устал так стоять. Выругался, зашёл ко мне за спину и приставил пистолет к моему затылку.

– Сдохни!

Раздался щёлк. Я понял: осечка. Я это знал.

Я обернулся мгновенно. Выбил пистолет у него из руки. Мы боролись, повалились на каменные плиты, катались между трупами. Вбежали солдаты, навели на нас оружие. Выжидали удобный момент, чтобы можно было меня застрелить без вреда для их товарища.

Высоко в небесах завывло, засвистело. Снаряд упал прямо во двор, поодаль от нас, разорвался, я оглох, контузило; палач расцепил руки. Его подначальные солдаты все полегли. Кто погиб сразу, кто ещё стоял, полз по камням, подвывал зверем. Глухота медленно меня покидала. Я слышал взрывы: вблизи и вдалеке. Грохот: рушились дома. Пыль забила мне глотку. Не мог дышать. Отполз от мертвецов. Приказывал себе: проснись, ты уже всё, что надо, увидел.

Разлепил глаза. Вокруг меня мерцало, тлело всё то же самое. Синий двор. Светляки полоумных огней. Убитые лежат вокруг. Я стою. Всё настоящее. Сна нет. Сон во сне. Жизнь в жизни. Зеркало в зеркале. Смерть в смерти. Я не могу из неё выйти. Выхода нет. Надо предоставить Времени свободу. Пусть оно течёт само. Само себя вдаль несёт. Может, и меня на хребте вынесет. Я не знаю, что мне делать. Я не могу бороться с настоящим. Я даже не могу их всех оживить. Я не Господь. Я только врач. Хирург. И ни инструмента. Ни скальпеля. Ни корнцанга. Ни иглы. Мне горько. Слишком темно. Глубокая ночь. Мировая ночь. И только свет, свет у тебя в руках. Светятся ладони. Я вижу, от них идёт постоянный, очень слабый, еле различимый свет. Вокруг холод, а от ладоней идёт тепло. Прислоню ладони к убитому. Буду так держать. Я понимаю, мои ладони не компресс и даже не грелка. Так, чужая живая плоть, прислоненная к мёртвому телу на жалкий миг. Тело меня не чувствует, не видит и не слышит. А душа?

Где ты, где ты, душа?

Душенька...

Глаза закрыл, и всплыли передо мной, две чудесные синие рыбы из глубин враждебного бурного океана, светлые небесные глаза. Очи. Широко стоят, как у коровы. Тихо и ровно горят. Две синие свечи. Опять она. Зачем ты на войне? Пришла меня утешать?

Душенька...

Под синим взором я начал ровнее дышать, сердце билось тихо, спокойно, от ладоней тепло потекло вверх, к локтям и плечам, скоро всё дрожащее тело оделось теплом, я закутался в моё тепло, как в баранью кудрявую шкуру, мне старовер подарил бараний полушубок, и я в сильные морозы мог по улицам свободно ходить, утретый, и больных спасать, больных тут, в таёжном городишке, было, как везде и всюду, навалом, мой хирургический стол дымился, то одно тело, то другое, то одна живая душа, то другая мечется, стонет и скорбит, и я ей помогаю, она то выходит из тела, то входит в него опять, не покидает, ещё хочет побыть, пожить в этом тёплом доме, у бешеной горячей печи сердца, у очага кроветворной печени, ещё неохота ей на волю, в сиротство, не бойся сиротства, говорит тебе Бог, оно дано тебе как награда, любая мука награда, что на земле, что за её порогом, а каких только операций я тут не делал, и по женским болезням, и свищи зашивал, и пневмоторакс, с чахоточными лёгкими сотворял опасные, на острие смерти, фокусы, и открытые переломы вправлял и сращивал, да разве мыслимо перечесать, любой хирург вам скажет: леплю телеса людские подчас заново, – а душа, люди, где же душа, где она кочует, где ночует, где гнездится, птица? Если бы знать ответ! Синие очи глядели, летели в меня с византийской иконы. А может, с Херувимской-Серафимской фрески, где тёмно-золотой, как густой цветочный мёд, фон, и Оранта поднимает руки ладонями ко мне, и глядит на меня круглыми громадными, величиною с чайное блюдце, синими глазами, и хитон Её кровавый, и плащ Её синий, и спасибо, благодарю Тебя, Царица Небесная,

что не оставляешь меня без призора, молчишь и глядишь, пригляды-
ваешь за мной; и всё меньше земного моего времени заботу Твою от-
работать Тебе, и всё больше понимаю я, важнее любви к Живому и
постоянного, каждодневного воскрешения угасающего, бесконечно
умирающего Живого нет у человека, да и у Бога, дела на земле.

Николай

Я не храбрый. Я не герой.

Я не смог бы в небесах, если бы лётчиком был, пойти на таран.

Так делают только безумцы. Юродивые.

Они себе говорят: моя жизнь ничто, жила бы страна, – идут на
смерть.

Бегут прямо в её пасть.

А я знаю: не станет меня, и некому тут будет спасать от осколочных
полостных, гипсовать сломанные позвоночники, да просто аппендик-
сы вовремя вырезать, не доводя больного до септического шока, когда
один за другим, поражённые ядом гноя, отказывают все внутренние
органы.

Я понимаю: не будет меня, пришлют другого хирурга. Свято место
пусто не бывает. Но то, что могу делать я, делаю только я. И никто в
мире.

Незаменимых людей нет! Чепуха какая. Есть, конечно. Я не пуп
земли. Я это тоже понимаю. Но каждый человек, любящий своё дело,
мастер. Вот и я мастер. Мастер плоти. Мастер тела. А кто там толкует
про душу... да пусть толкует. Я согласен: имеет право. Душа, это во-
прос веры. Верьте, верьте, да однажды проверьте. Выдумка или правда.
Правду сразу видно. Она ощутима. В ней всё колется, обжигает, гор-
рит, кровит, дышит, замерзает и снова тает, и вспыхивает, и взрывается.
Правда жива. А выдумка – выдумана. Она ещё немного, и ложь. Её не
попробуешь на вкус, не выпьешь, не обнимешь. Не заплачешь, к ней
лицо прижав. Выдумка, она как сон: посмотрел и забыл.

Я разве выдумал того человека? Он ранен был в бою, и лёг ко мне
под нож, и я думал о нём: вот герой. Я оперировал героя. Я тут опери-
ровал многих героев, и нет им числа. Оперировал чётко, быстро, ак-
куратно, технично, со знанием дела. Иногда глядел на порхание своих
резиновых рук над разъятым телом будто со стороны, из-под потолка:
эка летают, снуют взад-вперёд, полёт белых ласточек над красным сол-
лёным, йод и рыдания, горьким морем. Одна хирургическая сестра, не
помню как звали, увидела кровавые синие, дрожащие потроха и гряну-
лась в обморок. Ей совали под нос нашатырь, никакой реакции. Шок.
Я делал ей внутривенное, вводил магнезию, камфору. Задышала. Лицо
кровью налилось. Веки разлепила, меня узнала и от меня отвернулась.
Я усладил её навсегда. Мне прислали потом эту, Олю, или как её, Дашу.
Эта работает как часы. Иногда я думаю, что она механизм. Нет, стоп,
она тоже умеет плакать. Ещё как! Рыдать и выть, и причитать. Письмо
недавно получила, из дома. Видать, кто-то умер. Может, мать. Я под
кожу не лезу. Не любопытствую.

Герой мой разрезанный под скальпелем лежит, платок на носу эфи-
ром пропитан, сосуды в зажимах, в стальных бирюльках, и мне невдо-
мёк, что завтра случится, я же не чтец Времени, не провидец. И Время
не газета, чтобы его так запросто читать. Но если бы я прочитал! Я бы

эту сволочь не только не прооперировал – я бы, клянусь, зарезал его самолично.

А я его, получается, спас.

Для того, чтобы он казнил меня.

Да, вот так всё просто. Вообще всё в жизни крайне просто. Это мы сами на жизнь парчовые тряпки накрутили, нарядили её в горностаевые мантии, в плисовые кафтаны, в рясы, в эти, как их, ризы. Ряса, риза, а в чём отличие? Но я-то, я-то уж отличу жизнь от смерти. Не думал вот, не гадал, а в ловушку горностаев попал. На суде мне залепили: ты иностранный шпион, ты вернул к жизни и вылечил врагов народа. Народ! Где твои враги! И я, я первый твой враг, ведь я столько тебя, народу, спас, не сочтёшь, немерено. А ты, народ, ты что, ищешь убить меня? Да нет, ну что ты, ты добрый! Ты же всё понимаешь, народ! Ты же мне в ножки кланяться будешь, когда...

Когда что?

Я стоял в операционной, вдали ухали разрывы, когда ко мне, презируя стерильность и запрет, вошли эти люди. Трое. В военной форме. Я поглядел на них поверх маски. Молча указал им на дверь. Они громко подтопали ближе к столу, с их сапог кусками отваливалась дорожная грязь. Тот, кто подошёл первым, громко сказал, чеканя слоги: товарищ военврач, вы арестованы. Собирайте вещи, мы ждём. Сестра зажала рот рукой. Крик зажала. Тяжело дышала. Я слышал, как она сопит носом. Я спустил маску на подбородок и так же отчетливо сказал, глядя Первому прямо в рожу: ордер на арест! Второму, за ним, пошарил в нагрудном кармане и вынул сложенную вчетверо бумагу. Развернул. Тыкал мне в лицо. Читать умеете? Читайте! Больной на столе открыл глаза. Действие эфира кончалось. Он все слышал. Я посмотрел на него. По лицу его гулял ужас. Я спокойно сказал Второму: сядьте в коридоре и ждите. Я закончу операцию. Сапоги ваши грязны. Извольте выйти.

Я так, по-старинному, и выразился – извольте выйти, не знаю, почему я так сказал. Они, все трое, потопали прочь. Хлобыстнула дверь. Посыпалась штукатурка. У сестры дрожали руки, когда она подавала мне иглу и кетгут. Я шил угрюмо. Я не мог представить, что будет со мной. Ничего не мог себе вообразить. Ну ничегошеньки.

Память человеческая избирательна. Она ложится пластами, слоится, её минирует коварное Время, и вдруг нежная капризная память взрывается незабвенным потрясением, а назавтра оно забывается напрочь, и его уже никогда не было; не было, никогда, и всё тут. Привиделось. Причудилось. Ну, так бывает. Человек фантазёр, он тебе выдумает то, чего никогда и нигде не случалось, и выдаст бредовое сновидение за святую правду.

Я сначала помнил мои мытарства, хождение по судам и застенкам, я даже помнил мои побои, и как я, ударенный чужим кулаком наотмашь, с табурета падал; и голодовку помнил, вроде бы я её сначала объявлял, лежал на нарах и ничего не жрал, отказывался от еды, кричал: я хирург! я военный хирург! прошу отправить меня обратно на войну! – а мне в лицо смеялись и опять били меня по лицу, били крепко, с наслаждением. Человек, причиняя боль человеку, наслаждается. Обыкновенный садизм, а что делать. Его ещё никто не отменял. Это нарушение психики, да, и ещё какое. Но я не психиатр. Я хирург. Я лечу тело. Душу пусть лечит другой врач. Как можно вылечить сказку? Исцелить выдумку? Но ведь лечат. Исцеляют. И лекарств целую телегу, для души,

фармацевты навывдумывали. Нет. Увольте. Оставьте меня. Нет никакой души. Я уже ничего не помню. Ваша душа ничего не помнит. Слабенькая она оказалась, ваша несчастная душа.

Я сначала всё помнил, я твердил себе: запоминай, всё потом всплывёт, всё потом пригодится, ты ничего не забудешь, и они все, мученики, ничего не забудут, мы всё запомним и потом всю правду расскажем. Кому? Кому я, и мы все, смогли бы её рассказать? И нужна ли будет наша правда новым людям? Приходят новые люди, нашей войны им не понять. Они хотели бы повернуть время вспять. Они придут в новых начищенных сапогах, в новых блестящих касках, с новым, через плечо ремень, оружием. Будут метко стрелять. Помчатся друг на друга в новых танках, полетят друг на друга в новых вёртких, ловких истребителях. А врачи? Что будут делать новые врачи? А новые врачи будут, из открытых во тьму и бред, разбитых окон госпиталей, слушать неистовые крики новых солдат: вперёд! Вперёд! Танков волчий ход. Зенитки ищут жертву в небесах. Люди ждут, когда из шахт медленно выползут и полетят на людей ракеты, под завязку набитые взрывным ядом. Убивать, милые, не хватит рук! Смерть будет сама к нам прилетать. Заждались. А вот она. И мы не поймаем её, она слишком быстро будет лететь. Не досчитаешь до трёх. Раз, два...

Три!

...я всё забыл.

А может, мне память отбили. Я не знаю. Теперь мне это трудно объяснить. Я кричал в карцере: я хирург! Я хирург! Я очень, очень умелый, первоклассный хирург! Я вытащу даже приговоренного к смерти из её черных лап! Я дарю жизнь! Если вы будете умирать, я спасу вас! Верьте мне! Верьте! Я правду говорю!

Я кричал, срывал голос, хрипел. Стены молчали.

За стенами, я знал, передвигались, ходили люди. Разговаривали друг с другом. Выходили из здания, опять входили в него. Работали. Били, допрашивали, били. Это была их работа. За неё они получали деньги. Я кричал: это ошибка! Это правда ошибка! Я врач! Мое дело спасать! Я могу спасти убийцу! Преступника! Я же не знаю, кто лежит передо мной на столе и умирает! Я вижу – умирает! Я – оперирую! Это – моё – дело! Слышите! Это... моё...

Стены молчали.

Я замолкал.

Я молчал вместе со стенами. С огромным холодным домом. Вместе с полом и потолком. С замком, он не лязгал, не скрежетал о свободе. Я закрывал глаза и постепенно всё забывал. Мне становилось хорошо, я замерзал, как в поле зимой, и мне хотелось петь, тихо так петь, неслышно, чтобы слышал песню только я, слышало снежное поле и ещё звёзды. Тихо мурлыкать, напевать. Напевал. Слышу – да, напеваает. Кто? Я? Я, я, я? Неужели это я?

Вокруг алмазный снег. И небо всё в алмазах. И эта песня. Зачем она? Зачем я? Может, никакого меня нет? И я замёрз? И где-то одна, на воле, счастливая, гуляет меж наметённых за огромную ночь сугробов нежная, безумная память моя?

Я не слышал, как однажды ключ затарахтел в замке. Охранник растолкал меня. Я спал на каменном полу и сам превратился в камень. Руки и ноги у меня окоченели до твёрдости дерева. Я не мог их разогнуть. Не мог идти. Меня поволокли за руки. Пятками я прорезал пол длинного коридора, и с меня свалились башмаки.

Я не помню, босой я впрыгнул в поезд, или на меня кто-то сердобольный напялил обувку. Мне было всё равно. Да, кажется, я так и трясся в поезде босиком, а снаружи поля, города и деревни заметало, мело всё время, пока мы ехали. Ехали и спали. Ехали как спали. Когда спишь, есть неохота. Я слышал голоса: движемся на севера. На севера, повторял я, как песню, на севера. Я часто чувствовал себя собакой, и мне хотелось лечь под ноги людям. Люди рассматривали рваные шрамы у меня на груди, на запястьях и на спине, приподнимая рубаху и цокая языками, дивились, как жестоко меня били. Кто гладил меня по плечу, жалел. Кто ударял кулаком по столу, а потом скрючивался в бессильном рыдании. Так пьяные плачут, беззвучно и бешено, лицо кривя. Я сидел спокойно. Иногда задыхался. Народу в вагоне набилось много, мы сидели, плотно прижавшись боками, и спали сидя, как кильки в консервной банке. Все хотели есть, а мне есть не хотелось. Может, у меня отбили желудок, не знаю. Часто в центре живота возникала сильная боль. Я думал о боли: средостение, травма, ушиб. Или думал так: язва, голод, желудочный сок разъедает стенки желудка, скоро начнутся кровотечения. Вредно так много знать. Но я врач. Я не могу не знать. Мне надо знать о человеке всё. Это моё дело.

Моё. Дело.

Бездельничай теперь, хирург.

Я ещё помнил: я хирург.

Привезли, выгрузили. Холодно, да. Загнали в грузовики. Здесь не бомбили. Шла ли здесь война? Никто не знал. Повезли. Привезли на берег моря. Море серое, цветом в рыбий перламутр, переливается серебристой бедной чешуей, вздрагивает, набегаёт на берег, тихо шепчет. Прозрачное, слеза. Плачет. Тоскливое. Я наклонился, зачерпнул в горсть воды. Умылся. Солёное. Соль. Слёзы. Я умылся чужими слезами. Боль земли. Я тебя не вылечу никогда. Ты так и будешь болеть. И так же будешь плакать. Без меня. Когда меня не станет.

Повели. Долго спрашивали, писали в толстые тетрадки. Не били. Хотя, может быть, и хотели. Распределили: тебе туда, тебе сюда. Приплыли серые рыбы-люди. Повели в сараи. Тебе в этот сарай, тебе в тот. Мы входили в сараи, они назывались бараки. Длинные бараки, пустые, как стойла для коней, загоны для коров, иного скота. Пола нет, земля, надо спать на земле. Пучками там и сям лежит колючая солома. И здесь не надышишь, не согреешь жалким дыханием морозный воздух: в щели дует ветер, щели забивает метель, уж лучше бы она замела всё, всё на свете, и вместо нашего барака возвышался бы громадный сугроб, и мы все лежали бы там, внутри, и спали бы вечным сном в белом гробу.

Я забыл, как мы переночевали первую ночь. Все сбились в один большой живой стог. Вздрагивали. Стонали, друг другу мешали спать. Вскрикивали. Кто-то плакал страшно, в голос. Я не помню, в сапогах я уже спал, в валенках или босой. А, вспомнил. Я спал в чужих женских носках. В женском вагоне умерла девушка, говорили, красивая, и мне люди передали её носки, самовязку, грубая колючая шерсть, чтобы я мог хоть немного укутать промороженные ноги.

Здесь, в жуткой ледяной ночи, среди прижавшихся друг к другу тел, мы уже были не люди с мыслями, радостями и слезами, но просто тела, одно живее, другое мертвее; надсадно кашляла женщина. Захлёбывалась кашлем. Сначала я подумал: бронхит застарелый, грамотно не лечённый. Потом она стала задыхаться в приступе, и я бормотал сквозь

сон: астма, астма, введите адреналин под кожу. Утром, когда человеческий стог распался на множество чуть шевелящихся, страшно молчащих людей, женщина опять закашлялась, зашлась в кашле, задыхалась, и я увидел её. С затылка. Из-под потрёпанной волчьей ушанки на плечи выбились и вольно рассыпались по плечам сенные, пшеничные, соломенные волосы. Это толстая русая коса развилась и вырвалась из тюрьмы на свободу.

Женщина ловила ртом воздух. Приподнялась на руках, ладонями упиралась в голую заиндевелую землю. Умирала от кашля. Я видел её согнутую, горбатую от предсмертного ужаса спину, плечи, укутанные изношенной, едва ли не собачьей, шубенкой. Слепо перешагивая через людей, я добрался до неё. Не видел её лица. А она кашляла. Не оборачивалась. Не видела меня.

Я наклонился и крепко схватил её за плечи. Попытался к себе повернуть.

– Я врач! Обернитесь! Посмотрите на меня! Сейчас я вам помогу!

Ушанка свалилась у неё с головы. Лежала рядом с ней мертвым волчонком.

Человек убивает Живое, чтобы одеть, обуть и накормить себя.

Она упиралась, цеплялась ногтями за живую мрачную землю в иглистых разводах утреннего инея, будто кто землю щедро слезами посолил, а слезыньки-то и застыли на лютном морском холоду; я рвал её к себе, хотел вырвать у смерти, не дать ей, не сейчас, не сегодня. Она разжала пальцы. Ледяная земля набилась ей под ногти. Я повернул её к себе, и она упала мне на руки – так падает на руки любящему любимая. Я подхватил её. Мужской голос рядом изругался коряво. Старухи рядом заохали. Далеко, на краю света, заревел телёнком ребёнок.

Синие глаза ударили в меня.

Я держал на руках жизнь мою. Любовь мою.

Она глядела на меня. Она не потеряла сознания. Кашель застыл на её губах. Мне показалось: её губы покрылись инеем и стали чёрные, цвета голодной земли. Синева из широко раскрытых глаз текла по щекам, ложилась под ресницы, венозным синим током билась под челюстью, на шее.

Я слышал тяжелые хрипы у неё в груди. Так хрипит изношенный, старый баян с дырявыми мехами. Свист и хрип есть, а звука нет.

И адреналина у меня нет. И шприца нет. И спирта нет. И ваты нет. И ничего нет.

А что у меня есть? Я есть.

– Ничего не говорите. Слушайте меня.

Её лицо синело все гуще. Удушье. Надо было торопиться.

Я расстегнул шубёнку у неё на груди. Холщовое платье. Где застёжки? Чёрт, на спине! Некогда искать эти чёртовы крючки! Порвать! Быстро! Я рвал тугую холстину, руки обрели чудовищную силу. Люди вокруг глядели на то, что я делаю, и не останавливали меня. Глядели на белое тело женщины. Нагое. Такое близкое. Тёплое? Холодное? После смерти тело превращается в неизвестную материю. Оно уже не живое, и ещё не мертвое. Оно между мирами.

Мои ладони превратились в наждак, в два комка белой сухой овечьей шерсти, в две колких вязаных вареги, в две щётки из волчьего жёсткого меха, и я стал ими тереть это белое молчащее, недвижимое тело, тереть, мутузить, растирать, мять, колоть, и снова вминать, втирать в него мой неистребимый жар, мою волю, мою победу, и бормотал при этом:

живи, только живи, только живи, дыши, согревайся, я согрею тебя, я разотру тебя до огня, дыши, дыши, живи, живи, дыши. Ды-ши. Ду-ша.

Душа.

Какая, к чёрту, душа. Тело, давай же, давай, быстро, оживай!

Нагая грудь, ещё вчера красивая, обвислая от голода, торчащие ключицы, решётка рёбер, впадина яремной ямки, круглые кости плеч, всё это плыло, сияло, поднималось, падало и сверкало под моими руками, а я тёр, тёр, будто дыры в сияющем теле хотел протереть, кожа постепенно краснела, разогревалась, женщина судорожно вдохнула холодный воздух и опять закашлялась, и я, в отчаянии, расстегнул мой тулуп и лёг на неё, и сильно, горячо прижал её моим отощальым телом к земле. К земле.

– Грейся... грейся... молчи...

Я сначала шептал бессвязицу, потом замолчал, она раскинула руки, и я положил мои тяжёлые руки поверх её бестелесных рук, холстина завернулась к локтям, запястья жалко торчали из мохнатых раструбов шубёнки, я взял в руки её заледенелые пальцы и сжал, так умирающий сжимает живую руку напоследок, на прощанье. Она чуть пошевелила пальцами, и я понял этот язык. Пальцами она сказала мне: спасибо.

Потом я выпустил из рук её руки и просунул мои ладони под её спину. Обнял крепко. Под моей грудью дышала женская грудь. Я вспомнил всех моих женщин, у меня не так-то уж и много их было.

– Грейся... грейся...

И тут она взбросила руки и обняла меня.

Так лежали мы на земляном полу барака, крепко обнявшись, и застыли, как выточенные из дерева, нет, высеченные из камня, как памятник самим себе, и женщина тепло дышала мне в лицо, она была изумлена, потрясена, она испугалась, она замерла, она улыбалась, она дрожала, она жила.

И тут дверь барака подалась. Нас никто не запирает на ночь, с наружной стороны не висело никакого замка, не торчала никакая щеколда. Медленно открылась дверь, сколоченная из ветхого горбыля, и вошёл человек.

И никто не посмотрел на него. Все смотрели на нас.

Все молчали.

Спинами, затылками мы видели: вошёл чужак, и кто он? Охранник? Узник? Палач?

Чужак не проходил дальше. Стоял у дверей.

Я не мог обернуться. Я грел телом и жизнью моей мою единственную жизнь.

Зато медленно, елозя затылком по заиндевелой земле, обернула голову она.

Я видел, как синие очи её распахнулись ещё шире.

Я почувал, как тихо, страшно она дрожит.

– Кто это...

Она молчала.

Я перекатился на спину и перекатил женщину из-под моей горячей всетелесной тяжести себе на живот. Она лежала у меня на животе, как огромная белая кошка. Найдёнка. Я её нашёл и больше никому не отдам. Никому.

Её голова бессильно лежала на моём плече. Её глаза глядели на того, кто стоял у двери. Не отрываясь, глядели. Не моргали. Рот приоткрылся, из него вырывались короткие, еле слышные хрипы.

Я проследил за её долгим, как жизнь, взглядом. Увидел.

В открытых в зиму и море дверях стоял новый заключённый. Мой бородатый врач, с ним вместе мы принимали пытку, пленённые врагом, и убежали из-под стражи.

Ну, здравствуй, моя война.

Вот ты и настигла меня.

Я узнал тебя.

Губы бородатого доктора дрогнули; я видел, он узнал меня.

А она? Почему её глаза тоже узнают, знают его?

Кто мы такие друг другу? Все трое?

Стоящий у двери разлепил губы.

Я услышал его тихий голос сквозь подземные хрипы моей больной.

– Ну, здравствуй, моя жизнь.

Кому это он говорил? Мне? Ей?

Я крепче прижал женщину к себе. Её грудь, беспощадно мною растёртая, жарко алела, на скулы взбежала краска. Да, это наша жизнь. Моя, её и его. От неё не отвертись. И не надо ничего забывать. Ничего. Ни шага, ни вдоха, ни побоев, ни насилия, ни оскорблений, ни пыток. Мы не забудем. Мы! Не забудем! Мы! Победим! Врага!

...а что было дальше, я забыл.

Алексей

Я записывал в том таёжном городке в толстую тетрадку всех своих больных. Всех, кто являлся ко мне, прося первой либо последней помощи.

Близ городка власти закрыли и разорили женский монастырь. Три послушницы притекли ко мне из того монастыря. Я не мог без слёз слушать их страшные рассказы о том, как монастырь убивали. Как человека. Топорами, штыками, молотками всё били и громили в монастырских храмах. Святые иконы валялись на полу, на них наступали сапогами, и дерево ломалось под сапогом, и краски текли по святому лику, по золотому горнему фону слезами, кровью. Я чем дольше жил на земле, тем чище и сильнее чувствовал мощь Святого. То, что свято, неподвластно смерти. Да ведь и любовь неподвластна.

А где ваши товарки, монахини где, тихо спросил я послушниц. Они, все три, перекрестились и так стояли, молчали, глаза опустив. У той, что ближе ко мне стояла, слёзы по лицу покатались, крупные. Ничего, я шептал послушницам, ничего, милые, перемелется всё, мука будет, не мука, а мука, настоящая, хлеба будем в печь сажать. Да вкушать. Да Господа за счастье благодарить. Счастье жить, да, но ведь и счастье пострадать за Христа! Послушницы кивали, молчали и теперь плакали уже все: тихо, неслышно. Так муроточат иконы.

Я их, всех трёх, постриг в монахини. И благословил пребывать монахинями в миру.

Тут приказ пришёл: меня сослать в сельцо Саблино, что на Севере далёко; дальше того сельца и нет ничего, только белая, голая тундра одна. И смерть. И тоска. И ледяной океан, Северный Ледовитый. В приказе стояло: сослать навечно. Я улыбнулся. Ничего вечного под Лунною, дитя моё, ведь нет; всё, что именуют вечным, на деле оказывается мгновенным перед лицом Божиим.

В путь на Север мы потекли с тремя новоиспечёнными монахинями. Девочки они ещё были, ну вот как ты, нет, конечно, чуть постарше тебя.

Пока ехали, много всего святообрядного совершили: и грешников исповедовали, и покойников погребали по Пасхальному чину, и однажды в селе на берегу Ангары попросили меня обвенчать молодых, ну я и обвенчал. Радость такая, глядеть на счастливые лица новых мужа и жены на земле! Как там сложится их жизнь, один Господь знает; но перед ликом Господа Распятого все наши земные мучения и малые распятия – ничто. Праздник – с Ним, и горе – с ним. И детки, детки пусть у вас с Богом родятся, шептал я обвенчанным, осеняя их широким крестом, сам весь в слезах счастья, и они плакали и целовали мне руки.

И шли да шли вперёд, всё вперёд и вперёд, и плыли по холодной изумрудной Ангаре в смоляных долблёнках; на безумных порогах, проходя их в узких наших лодчонках, громко, на всю реку, молились, и Бог миловал нас и не оставил нас; и причалили к берегу каменистому, подзолитостому, гущина тайги нас поразила, тайга стояла зелёной стеною, и вышел навстречу нам олень, и стоял перед нами смело, не убежал. Вдали виднелись крыши. Мы привязали долблёнки к рыбацким кольям на берегу и прибрели в село. Здесь мне пришлось делать операцию катаракты белому-снежному, похожему на белую полярную сову старику. Он уже почти ослеп. Я решил вернуть ему зрение. Старик лег на узкую листовничную лавку, я достал из мешка железный контейнер с глазными хирургическими инструментами. Монахини привязали старику руки-ноги к лавке. Я действовал быстро, так быстро, что даже задохнулся. Вытащил мутный хрусталик. Старик скрежетал зубами. Я наложил ему повязку на глаз и прошептал: во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Он поправил меня: во веки веком. Он был старовер, как многие старики в Сибири; и не только старики. Обе веры в тайге уживались, как уживаются звери: волк с лисицей, овца с козю.

И во мне наши веры мирно уживались; иной раз мне казалось, я вышел в наш день из дней Иоанна Грозного, из пустозёрских, во земляном срубе, ночей Аввакума.

Арахна, надменная пряжа, пряла и пряла нескончаемую снежную нить. Я уставал следить за пряжей метели, уставал засыпать под вой вьюги. И всё же я благословлял труды Вселенской паучихи, ткачихи Арахны, ибо, среди прочих жизней, пряла она мою жизнь, и ткала всеобщий ковёр. Пряжа, труды и дни твои! Женщина! Где моя жена, ответь? Умерла ли она? А может, она жива? Где дети мои? Я любил их. Может, они все заболели и умерли в страшную эпидемию, когда в огне революции пожирали людей отчаянные, голодные и жадные хищники – тиф, инфлуэнца, холера, оспа, чума? Пряжа, Арахна, послушница Времени, я женюсь на тебе. Да нет, горделивая ткачиха, наслаждайся своим монотонным ремеслом, я пошутил. У меня есть Душа моя. Я не оставлю её никогда.

Когда мы собрались в навечный путь на Север, нам выделили верховых лошадей. Монахини, дико хохоча, еле забрались в сёдла. Старик, с повязкой через лоб, как одноглазый разбойник, вынес нам в подарок двенадцать собольих шкур: монахиням по три шкурки, и мне три. Я отказался: зачем мне соболя?.. и монахини получили по четыре. Драгоценная рухлядь, смеялись мы, царские меха.

Ехали мы, пешком шли, лошадей под уздцы вели, потом опять на них взбирались, потеплело, налетел гнус, от укусов мошки мы погибали, мошка обсядет лицо, мы оботрём ладонями лоб и щёки, а ладони все в крови. Лошади, нещадно покусанные, падали на землю и валялись по траве, и дико, тоскливо ржали. Жаловались.

Опять на лодке по Ангаре плыли. К берегу пристанем, общими усилиями лодку выволочим из воды, уткнём носом в камни, а сами в виду воды среди камней встанем и отслужим Божественную Литургию. Никогда не забуду, как пели мои монахини под широким холодным небом! Я нарек их, когда постригал: одну Евпраксия, другую Евлалия, третью Евфросинья.

Плыли до впадения Ангары в Енисей, по Енисею на барже. По берегам возникали из густого тумана тунгусские селенья; тунгусы стояли на берегу, глядели, как мы плывём; я видел, у многих трахома, выворачиваются огненными знаками на опалённых солнцем лицах ярко-красные веки. Они нам кричали: Туруханск близёхонько!

Туруханск, и мы сошли на берег, и тут тоже стояли люди, люди, много людей, и вдруг все они опустили передо мной на колени. И все, все до одного, сложили руки лодочкой: благословения просили. Я всех, каждого в той толпе на берегу, обошёл и благословил. Люди плакали. Охрана терпеливо ждала, пока я всех благословлял. Ни слова охранники не изронили.

И я видел, как оттащили от меня моих монахинь, как повели их прочь от меня, и они всё оглядывались на меня, и слёзы катились у них по щекам, но и они ни словца не проронили. Так, молча, их и увели. А меня, после общего благословения и общей, на берегу, молитвы посадили в телегу, стегнули лошадь и повезли, и привезли в больницу.

Я понял: народу я тут нужен и как иерей, и как хирург. Как хирург, может быть, нужнее, чем как священник. Хотя вот кто душу спасёт? Тело, в нём душа прячется. Приходит смерть, душа вылетает вон из тела. Куда идёт? На мытарства, а может, сразу в Небесный Иерусалим поднимается, несомая златокрылыми Ангелами?

Время раскатывалось тонким тестом на столе, под невидимой тяжкой скалкой, посыпалось, чтобы не приставало к рукам, глазам и сердцу, тонкой звёздной мукой. Из Времени надо было испечь блины, хлебы, оладьи, лепёшки, а я смотрел на его раскатанное по столу моей судьбы тесто, и растерянно думал: ну я-то ведь не повар, какой из меня повар, стряпать не могу, могу только лечить и молиться.

И я лечил и молился, о Времени не думая.

Привозили брюхатых тунгусок и русских баб на сносях, не способных разродиться, – я делал кесарево сечение, вынимал из кровавой утробы свеженького, не натрудившегося в родах младенца, всего гладкого, блестящего, как красная смуглая рыбка, в масляной родильной смазке, дико орущего, глазки-щёлочки, пуповина вьётся сизой, лиловой нитью, мать плачет от радости, уже не от боли, младенец рыбою бьётся у меня в руках; я показываю его матери, верчу перед ней, чтобы рассмотрела она чадо своё со всех сторон, у неё глаза превращаются в Богородицыны очи чудотворной иконы Чимеевской. Какой красивый! Мальчик? Мальчик, мальчик, бормочу я, да, прекрасный.

Я делал глазные операции, ободрённый успехом удаления хрусталика древнему слепому деду; обрабатывал и зашивал рваные раны, вправлял переломы, творил резекцию челюсти и резекцию язвенного желудка, всё делал, что надо было делать, когда человека постигает большая беда. Я даже самоубийц, в последний момент вытащенных из петли, лечил; они успевали повредить себе трахею, а кто-то и шейные позвонки, и кому-то на всю оставшуюся жизнь требовалась иммобилизация и фиксирующий шею твердый воротник, наподобие шины. Иной человек жизни не сдуживает, и ему кажется лучшим и счастливейшим путем –

расстаться с жизнью; и так то, что дал человеку Бог, он отнимает у себя сам; и это несчастье запоминает, и потом, минуту улучив, опять повторяет. Так бывает.

Я пытался вызнать у охраны, где мои монахини. Охрана молчала. Я прекратил расспросы. Помолился за их души светлые. Если вас уж нет на свете, пускай вы будете, родные, дорогие, в светлом, пресветлом Царствии Божиим, в Саду Эдемском, под Покровом Богородицы. Так молился.

Я лицом к лицу стоял с людьми, кто ненавидел Бога. Бог тем людям был их личный враг. Я видел, как сверкали злобой их глаза, когда они говорили о Боге. Уничижали Господа гадкой руганью. И я не мог залепить уши мои воском, заткнуть ватой, чтобы не слышать поношений. Словом можно ударить наотмашь, изувечить; убить. При мне Бога убивали, снова и снова. Распятый снова подвергался Распятию, и Крест возвышался вечен, и души людские, как покалеченные, слепые, выколоченные глаза, незрячи пребывали. Иногда злые люди, охранявшие меня, позволяли мне отслужить обедню в заброшенном монастыре на берегу Енисея. Я спрашивал мою охрану: а в Саблино-то когда поедем? Охранники молчали. Я осенял их крестным знамением.

Они отшатывались от крестящей их моей руки, как от змеи.

Один раз охранник ударил меня, когда я его благословлял. Я низко поклонился ему, до земли.

Видел: он хотел ударить меня ещё раз. Но сдержался.

В осиротелый монастырь меня возили в особых санях: в кошеве, укрытой попоной, сплошь расшитой розанами и маками. Эту кошёвку и расшитую цветами попоноу подарили мне туруханские крестьяне. На снегу такая самоцветная кошева гляделась ярким Царским поездом. Я смеялся: ну точно я Царь! А шёпотом бормотал, крестясь: да нет, жалкий я и нищий, один из малых сих, а Царь у нас у всех один, Небесный.

Я до того осмелился, что стал проповедовать в монастырском Троицком соборе. В нем была разрушена, вся в зияниях дыр, южная стена. Ветер гулял по храму. Немногочисленная паства, все крестьяне, русские, эвенки, тунгусы и тофалары, медленно подходили к Причастию. Диакона ко мне не приставили. Какие в тундре диаконы? Я справлялся с причащением один. Потир дрожал в моих руках. Я волновался. Люди причащались Святых Даров, иной раз и Преждеосвященных, а пока медленно, как во сне, подходили к золочённому потиру в моих руках, две девочки маленькие, ну вроде тебя, дитя, тонкими голосами пели «Иже Херувимы», это я их научил.

О чем я проповедовал? Как? Я говорил о Духе Святом. О душе. О сердце. О Господе. И о том, что есть тело человека. О тело человека, говорил я, его нам не понять! Мы его кормим, поим, холим, обихаживаем, одеваем в тёплые зверьи шкуры зимой и в ситцевые невесомые наряды летом, чуть захворает оно, спешим его излечить, мы боимся его страданий, недуги причиняют нам боль не только телесную, но и душевную, и часто обе боли мы вынести не можем; но тело человека, чего оно носитель? Оно умирает, и оно уходит в землю во гробе. Перестает биться сердце, вместилище любви. Прекращает каждодневную работу мозг, прибежище мысли. Не шевелятся руки, не идут ноги; лежит тело человека, спокойно, навеки в домовине вытянувшись, и помину нет ему. Истлевать! Плоть изгнивает и обнажает кости. Страшный скелет возлежит под землёй. Настанет время, и кости оденутся плотью, и восстанут тела из могил; но то свершится на Страшном Суде, а когда

он грядет, не знает никто. И я не знаю. Один Бог знает. Но Он нам о том не скажет.

И что? Лелейте тело, ублажайте и услаждайте его! Всё равно оно умрёт. Уйдёт в свой черед. А вы? Спрашиваете вы меня: останемся ли мы? О какой такой душе говоришь ты тут нам, слуга Господень? Где она живёт, та душа? Откуда в тело прилетает? Куда улетает, когда тело уходит в землю сырую?

И отвечал им я: душа это самое важное, самое живое и бессмертное во всем Мире Господнем. Душа, это ваше упование. Ваша надежда! На жизнь будущую, на тысячелетнее Царство Христа Бога, что наступит на земле, и тысяча лет пройдет как один солнечный день, и обнимутся все люди напоследок, и станут одной душою, как Бог, Альфою и Омегой, Началом и Концом всего.

Я видел: глядели на меня енисейские крестьяне, русские и нерусские, большими глазами глядели и маленькими, узкими, как мальки на мелководье, и не понимали, что я им тут такое повествую. А я все равно говорил, говорил, говорил.

И, приходя в больницу, где лежали те, кого я оперировал вчера, утром, днем и ночью, я о том же говорил; и подходил к их койкам, и глядел им в глаза, и поправлял повязки, и вытирал ладонью со лба пот, и вытирал со щёк им слёзы, и благословлял их.

Власти обозлились на меня за проповеди. Однажды охранник как с цепи сорвался, заорал на меня: собирайся, поп, на севера попрёшься! Час тебе на сборы! Я спросил: в Саблино едем? Охранник выплюнул мне в лицо: да, в Саблино! На Северный Ледовитый! Вот там ужо замёрзнешь, поп! Окоченеешь! И никто тебя не отпоёт! Разве белые медведи!

Собрался я быстро. В котомку засунул и больничную толстую тетрадку мою. Я давно уже записывал в ней не только симптоматику в динамике и температуру моих больных, но и мои мысли о том о сём. О Боге и человеке. О душе, сердце, теле и великом Духе Святом.

Крестьяне прослышали, что меня увозят. Приволокли мне в дорогу огромное, сшитое из медвежьей шкуры одеяло. Я восседал в кошеве, а меня крестьяне укрывали медвежьим одеялом и плакали. Они меня крестили, кто двуперстием, кто троеперстием, всяко-разно, а я их. Мы крестами будто целовали и обнимали друг друга, как в Пасху Господню.

Мороз ударил, и к ночи звёзды превратились в ледяные осколки и густо сыпались с небес в расстеленные белые покрывала необъятной тундры. Я трясся в кошеве, из ноздрей лошади валил густой пар. За мной в крытой повозке, запряжённой двумя конями, ехала вооружённая охрана. Я, безоружный, укрытый медвежьей шкурой, задрогший вусмерть; и они, в кибитке, там надышано, тепло, и винтовки у них, и наганы, и ножи, как же в тундре без холодного оружия, а если надо хищника ножом пырнуть. Повозки с берега скатились прямо на зальдельный Енисей и покатали прямо на Север, куда и стремилась мощная река, бока лошадей раздувались, они тоже замерзали, их спасал усердный бег, бег вдаль, по льду, по звёздам, по коврам и белым соболям, и серебряным песцам беспредельных снегов, и один Бог ведал, когда мы в то Саблино прибудем, и прибудем ли, уж очень сильный мороз ударил, такой, что дышать нельзя, мороз-убивец, ох, задохнёмся, околеем, и я начал молиться Господу, чтобы помог, поддержал, укрепил меня, слабого, маловерного.

На пригорке виднелся сгоревший поселок. Чёрные избы, пепелища. Никого. Нет, вон к нам медленно, увязая в снегу мохнатыми пимами, эвенк ковыляет. Ворота его избы распахнуты. Изба цела. Единственная. Во дворе толкуются отошальные олени. Мы подъехали к воротам и крикнули эвенку: забирай лошадей, дай нам оленей! Он понял. Мы распрягли усталых лошадей и впрягли оленей в повозки. Не дотянут олешки, зло выдохнул охранник и сплюнул в снег, уже больно слабы, доходяги. Это я не дотяну, прохрипел я, согреться бы, хоть немного, закоченел весь. Охранники, сквернословя, несли меня в избу оленевода на руках. Внесли и бросили на пол. Я шмякнулся об пол, как мешок с камнями, и сознание потерял. Очнулся оттого, что эвенк поил меня горячим молоком странного вкуса и приговаривал: глотай, глотай, оленуха млеко, замороз, в погребница зимка хороницца.

Настало утро, мы отогрелись, напились оленьего молока и пустились в путь.

Вот оно, полярное Саблино. Последнее, перед Чёрной Гибелью ночного неба, место на земле, где живёт человек.

Ещё человек, не зверь.

Ещё живёт.

Ещё глядит на небеса, а в них копошатся, ползают звёзды, погибают и вспыхивают, не сосчитать; великое паникадило, вечный медленный, заклятый Круг, круговращенье Мировъ, колесо веры, коловрат памяти, веретено надежды, хоровод любви.

В селе Саблино я насчитал семь изб. Семь, думал я, улыбаясь, счастливое, святое число. Меня поселили в холоднющей избе; не изба, а лёдник; вместо вторых рам в окнах торчали плоские блестящие льдины. Горка снега лежала на полу около двери. Мужик привозил мне на салазках дрова; баба стряпала и стирала. Мужик сколотил мне для спанья нары, я накрыл их дарёной медвежьей шкурой, а мужик расщедрился и приволок мне ещё оленью шкуру, укрываться. В избе имелась печка-буржуйка, я насыю в неё дровишек на ночь, они прогорят, и тепло мне. Иногда проснусь, а огонь в печке пыхает, я разлеплю глаза, на пламя гляжу, а оно яркое, мне со сна так сетчатку и обожжёт, злее молнии. Утром встану, а в избе мороз, и вода в ведре затянута толстою коркой льда. Жизнь! Ты ведь тоже лёд! Сплошной лёд! И не протаять тебя, не растопить бедным, огненным сердцем! А всё равно бьётся оно в груди, жжёт, ледяную смерть прожигает! Наш удел. Душе моя, душе, восстани! что спиши!

Сердце пылает, а ноги в валенках стынют. Кого тут лечить? Кому молиться? Они сказали, на всю жизнь я сослан сюда. На всю! А что такое вся жизнь? Может, это сегодня, завтра, а послезавтра у тебя, человеке, уже не будет! Я мылся ледяною водой из застылого ведра, разбивая кружкой лёд; я зачерпывал из медного чайника кипяток и обливался кипятком, и кожа моя не чувала ожога. В ночи раздавался дикий треск: это трескался лед поперек Енисея, а там, чуть поодаль, за выгибом снежной хребтины, виднелось море. Зазубрины льда, забереги, круглая шуга, белое крошево, а дальше вода, вода и чернота, вода и зловещая зелень, вода и мрачно-красное, резкой полосой крови, небо, переходящее опять в навечный траур: закат кровит, а полночь обвязывает смоляным крепом. Душа! Не спи! Гляди! Запоминай!

Да для кого запоминать-то? Может, с памятью навек проститься?

И с Временем тоже?

Баба, что готовила мне скудную пищу, исчезла. Охранник-призрак пропал и появлялся. Я спросил его, где моя кухарка. Он нехотя ответил: её загрызли волки, помчалась, дура, в другой станок, в Лихое, там дочь у ней, а волки напали, лошадь загрызли и её самое. Сам себе стряпай, повар Гордей! Первое моё блюдо была уха из трески. Треску я, чтобы звери не сожрали, хранил, завернутой в вощеную бумагу, на окне, около моих ледяных стекол. Я забыл уху посолить, и сыпал соль прямо в тарелку, когда ел, а хлеб мой закончился, и не знал я, когда привезут мне жёсткий ржаной кирпич, прихлебывал уху и бормотал, треску вкушая: Господь двумя рыбами уйму народу накормил и пятью хлебами, вот оно, чудо, а у меня тут чудо простое, чудо, Господи, что я живу, ещё живу. И ел уху, молясь и крестясь, и так всю из котла выхлебал, и сыт пребывал.

И так научился я сам себе еду готовить.

И мне посчастливилось не только хоронить людей в вечной мерзлоте, но и роды принимать, и крестить.

В сельце Саблино я крестил новорожденного ребенка.

Из Лихого в Саблино прибыла беременная дочь моей погибшей поварихи и вознамерилась тут родить. Брюхатая не знала, что мать её померла страшной смертью; от слёз-рыданий у неё начались роды, и меня позвали их принимать. Я наклонялся над роженицей, сгибал ей ноги в коленях, кричал: тужься! тужься! Она тужилась, как могла. Не вопила. Терпеливая. Только пот тёк по лицу рекой, и вся она истекала, подплывала потом и кровью, серебряными околоплодными водами, лежала на полу на старом тряпье, вокруг ахали две старухи, да Господи Боже, какие из них повитухи, так, мешали мне, я соображал: нет, кесарево нельзя, да и молодая она, сама родит, прощупал ей живот, предлежание у плода было неправильное, тазовое, он шел вперёд ножками, а не головкою, и я мог совершить поворот плода, мог, меня же учили, да что же такое с плодом стряслось, может, он обвит пуповиной, и сейчас там, в утробе, синее и задыхается, а ему надо родиться! надо! надо!

Я положил правую руку на низ живота роженицы, а левой стал нащупывать, через брюшную стенку, головку плода. Толкал. Толкал. Баба охала, стонала. Схватила меня за руки. Я руки её стряхнул и тихо, внятно сказал ей: я делаю так, что ты сама сможешь родить. Иначе разрежу тебе брюхо ножом. Она коротко визгнула и утихомирилась. Постановила слегка. Когда я повернул головку как надо, роды пошли как по маслу! Ребенок выскочил из чрева как из пушки! Мать и я – мы даже понять ничего не успели! Ну, думаю, опытная мамаша. Я промолвил: это не первый у вас? Родильница, с мокрым счастливым лицом, только и повторяла одно слово: первенчик! первенчик! я-то мнила, буду цельну неделюску муцицца!

Я вымыл младенца в корыте, старухи нанесли вскипяченной тёплой воды, я глядел на мальчика и думал: ах, мальчонка, может, тебе доведется жить в Мире, где не будет никаких войн, тюрем, пыток, издевательств, где волки тебя не загрызут, и во льдах ты не утонешь, и на костре тебя не сожгут, развлекаясь твоими смертными муками.

Не было при мне моей многостираной рясы. Не было спасительного тревника. Не совершал я никогда обряд крещения новорожденного младенца. Что делать? Они все, старухи и хозяин, стояли рядом и ждали, и жадно, восторженно и требовательно глядели на меня, то как на Бога, то как на прислугу; они прекрасно знали, что я священник, и ждали от меня того, что я должен был сделать.

– Полотенце мне дайте!

Старуха росточком пониже метнулась на кухню, чуть не упала и доски не клюнула носом, несёт полотенце самотканое, я беру полотенце у неё из коричневых, медовых, горько-корявых рук, а руки её древние, коряги живые, дрожат, она понимает: это уже не полотенце, и я понимаю, высоко полотенце поднимаю и возглашаю:

– Да наречешься ты на сей миг епитрахиль!

Вешаю епитрахиль на спинку стула.

Простираю руки к корыту, где миг назад купал ребенка, и восклицаю:

– Да наречешься ты на сей миг святая купель!

Низкий потолок избы не позволял мне, высокому, выпрямиться во весь рост. Я сгорбился, стоял согнувшись. По половицам раздался стук, будто шагала женщина на каблуках. Это в комнату вошел из хлева телёнок, цокая копытцами, подошел к купели и, окунув туда морду, немного попил из нее тёплой воды.

Старухи повалились на колени. Я смутно думал: ну вот, у нас здесь всё будет как в Святом Семействе, как в яслях в Вифлееме, вот и телёнок в избу взошёл, а там, глядишь, и мать-корова придёт, а за нею коза, а за нею овца, и пастухи явятся, приведут собак с волчиными мордами, и поклонятся Тому, Кто наконец пришёл на свет, и вот, я Ему тоже поклонюсь; а кто же такой сам человек, разве не создан он по образу и подобию Божию, разве в человеке Бог не пребывает, в каждом, во всякую минуту жизни его, и что же мне делать в новоявленных яслях, Господи? Какие молитвы читать, какие мелодии во славу новой жизни петь?

И головою в холодную воду я – прыгнул!

Как в Ледовитый океан – со скалы, унизанной тысячью галдящих птиц!

И стал я громко, торжественно петь и огненно читать!

И я сам, сам те пламенные молитвы на ходу сочинял, и Господь меня простил за это, и не только простил, а в сём новом, северном Вифлееме, в сердцевине лютых полярных морозов, в скрещении кровавых закатных, посмертных ножей, среди расстеленных по выстывшей земле белые парчовых платов, неистово, яростно сверкающих под низким молочным, сливочным Солнцем и под солью-россыпью юродивых звёзд, Господь меня – да, меня! жалкого слугу Своего! разнесчастливого, битого-забитого иерея Своего! каждодневного пахаря чернозёмного-вселенского, безграничного поля Своего! – поддержал, ободрил, обладал, с небес сильною рукой перекрестил! Так, без слова единого, Он сказал мне: делай, что должен делать, и буду Я тебе помощь!

Не было у меня снежных парчовых одежд, не было белых нарукавниц; не было свечей длинных, вечно горящих, не было кадила, чтобы покадить щедро и густо вокруг купели; а была лишь купель, вот она, еще вчера она была жестяным корытом, и был младенец, красный как вино, лежал на полу на рваной простынке, сучил ножонками и орал, и обрезанную пуповину ему уж обмотали ветошью старухи; и обошел я вокруг купели, поднимая руку, будто бы кадил, и крестились старухи, стоя на коленях, и хозяин, с бородою седой, длинной, чистый старец Симеон, на колени в дверном проеме встал, и низко, в пол, поклонился я им всем, и родильнице нижайше поклонился.

И за диакона глаголил:

– Благослови, Владыко!

И, сам за себя, радостно возгласил:

– Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь!

И снова за диакона возглашал ектенью:

– Мiромъ Господу помолимся... О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся... О мире всего Мiра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся... О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся... О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе... Патриархе...

Слѣзы сами полились.

Так и лились на рот, на губы поющие, на сияющие слова. На прошлое и будущее.

– О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся... О еже освятитися воде ей, силою... силою и действием... и... и Святым Духом... и наитием Святаго Духа... Господу помолимся... О еже достойну быти нетленнаго Царствiя в ней крещаемому, Господу помолимся... О еже сохранить ему одежду Крещения, и обречение Духа нескверно и непорочно, в день страшный Христа Бога нашего, Господу помолимся... О еже быти ему воде сей банею пакибытия, оставлению грехов и одежды нетления, Господу помолимся!.. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию... Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим... Тебе, Господи!..

Ектенью я ещё помнил. Все диаконы мои, что мне сослужили, глаголали её исправно и без запинки. А вот мою, тайную молитву, что я над крещаемым шѣпотом должен был читать, я тихо пел из сердца моего, понимая: забыл, требника нет, молиться надо, и что есть молитва, как не славословие изнутри души? Песня любящего, кровью омытого сердца, что бѣется и верит: никогда не умру.

– Боже, милостив буди ко мне, грешному! Боже, смилуйся над нами всеми... Ты все тайны наши один ведаешь. Ничто от Тебя не укроется. Ты нас на ладони держишь. Мы все Твои птахи, Твои крохи. Все мы обнажены перед очами Твоими. И если что сотворим мы ужасного и грешного, Ты все равно будешь ожидать от нас, безумных, покаяния... а мы-то ведь каяться не умеем никто... Омой, Господи, чистыми Твоими слезами наши скверну телесную и скверну душевную! Ты чист, Ты свят. Подари нам совершенную веру и самую небесную свободу! Мы рабы греха, а Ты человеколюбец. Ниспошли нам великую силу Твою для сражения со злом. Вот человек родился на свет; подари ему, Господи, истину Твою! Пусть пребудет он и душа его, и сердце его в лоне Твоей святой, соборной и Апостольской Церкви... Господи... услышь... спаси и сохрани...

Я помнил: теперь надо громко возглашать молитву, во весь голос.

Старухи всё ниже клонили головы и всё чаще крестились. Хозяин безмолвно глядел на меня. Он видел меня не в нищей истрепанной одежке, а в лучезарной ризе.

Восторг светился в его глазах и искрами перебегал на людей, утварь, черные староверские иконы по стенам мрачного сруба, а из тьмы образов наплывало и вспыхивало забытое золото небесной тайнописью.

Рожденный на свет мальчик внезапно замер, перестал повизгивать поросёночком и кряхтеть, умолк, прислушивался к тишине, к шѣпоту. А когда я стал молиться громко, на всю избу – вздрогнул всем красным тельцем и повернул ко мне лысую головѣнку.

– Чудны дела Твои, Господи! Велик Ты, Господь наш, и славен на всю землю и все небеса! Пою все Твои чудеса, что Ты совершил среди людей, и те, что ещё совершишь, о Втором Твоем Пришествии! Ты держишь в руке Твоей всякую земную тварь. Всеми четырьмя стихиями Ты повелеваешь! Огонь, земля, вода, воздух... воздух есть Ты Сам, и Тобою мы дышим! Пред Тобою трепещут все люди и звери, Тебе сияет Солнце, Тебе мерцает Луна... Тебя обступают звёзды, к Тебе стремится свет, Тебе раскрываются бездны, тебе немолчно журчат источники... Кожею телячьей ты развернул над землёю родное небо! Утвердил Ты родную землю на водах! Обнял ты море великое песком и камнями! Служат Тебе Ангелы... и Архангелы... многоочитые Херувимы и шестикрылые Серафимы... Господи! Неподвластен Ты языку человеческому. Безначальный Ты и несказанный. Явился Ты на землю нашу во образе человека, и, как раб, как крестьянин простой, по пыльным дорогам ходил... и ученики Твои смиренно шли за Тобой... И зрел Ты, как диавол мучит род человеческий, истязает его, и захотел Ты человека спасти! И спас! Ты... спас нас... всех...

Младенец глядел на меня глазами круглыми, тёмными, бездонными, так глядел, будто всё понимал.

– Исповедуем благодать Твою, Господи, проповедуем милость Твою! Девственную утробу Матери Твоей Пресвятой Богородицы освятил Ты рождеством Твоим. Ты на земле явился, и жизнь Твою на земле прожил среди нас, человек. В реке Иордан крестился Ты, вошел в воду, и Отец Твой с небес ниспослал Тебе Святаго Духа в виде голубя. Явись и ныне, Господь наш! И освяти сию крещальную воду наитием Святаго Духа Твоего! И дай той воде благодать избавления, Иордана благословение, сотвори источник нетления, дар освящения, грехов разрешение, недугов исцеление... демонов всех погуби, Ангельскую крепость возведи... Да исчезнет зло и все враги Твои от произнесения одного дивного, славного имени Твоего!

Я перекрестил воду в купели, трижды окунувши в неё пальцы.

Слова Таинства воссияли в памяти. Я считал их с небес. Эти – вспомнил точно.

– Да сокрушатся под знаменем образа Креста Твоего вся сопротивная силы...

Дальше будто волна на меня накатила. Сквозь водяную толщу я еле различал буквы, они тут же начинали звучать. Это было диво дивное – я видел словеса, и я их сразу слышал, и они таяли у меня на губах, и под строгим, без дна, взором младенца я смущался, вспоминая и забывая, терялся, дрожал, боялся, а в страхе душа все равно ликовала, новый человек родился, и я, я крещаю его, Господи!

– Ты даровал нам, Господи, свыше рождение водою и Духом...

Елей, дальше ведь елей... а нет, нет у меня святого масла... вообрази, вообрази...

– Быти, быти тому помазанию нетления... оружию правды... обновлению души и тела... всякого диавольского действия отгнанию... во славу Твою, Отче, и Единородного Твоего Сына, и Пресвятого, благого и животворящего Твоего Духа...

Старуха, что поближе ко мне на коленях стояла, встала, кряхтя и задыхаясь, взяла на руки младенчика и поднесла ко мне. Я окунул пальцы в воду и помазал ребенку лоб и грудь.

– Помазается раб Божий... как назвали?... пока никак?... пусть будет Алексей, человек Божий... раб Божий Алексей, елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Мазал уши.

– Во слышание веры...

Мазал руки.

– Руки Твои, Господи, сотворили меня и создали меня.

Мазал ноги. Младенчик скрючил ноги и захныкал.

– Ходить теперь ему по стопам заповедей Твоих.

Я спросил старуху:

– В какой стороне восток?

Старуха, зажав беззубый рот рукой, другой рукой махнула; там чернели ночные окна непроглядной, довременной сажей.

Я пропел торжественно, глядя на восток:

– Крещается раб Божий Алексей, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь.

А теперь что? А теперь тридцать первый Давидов псалом. Помнишь, не помнишь – пой! Пой, что помнишь! Ты сам себе требник. Ты Господень поводирь, ты Его сюда привёл, в ледяную избу на краю света! А может, это ты слепец, а Он твой поводирь, и влётся ты за Ним, на свет и смех Его, на нежно звучащее в ночи слово Его! И так пришли вы оба к людям, во чьей семье пополнение; и откуда тебе знать, как сложится жизнь мальчонки Алексея, на какой войне он сгинет или за какой грех его к стенке поставят и расстреляют; Время не знает никто; но иногда, иногда Время расступается перед тобой, бедный человек, как Чермное море расступилось перед воинством Моисеевым, и сомкнулось вновь перед войском фараоновым; и можно в прозрачной, слёзно-соленой воде разглядеть всё, сужденное на веку. Тебе или кому другому. Другой, он твоя родня. Вы все близко. Вы все едины.

– Беззаконие мое познах и греха моего не покрых... Ты еси прибежище мое от скорби... Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведнии...

Другая старуха встала с колен на удивление легко, как девица. Сдернула с табурета сложенную простыню, встряхнула, развернула. Подала мне. Я закутал ребенка в простынку. Он опять заплакал, громко, требовательно; потом согрелся, умолк. Мать лежала на полу, я время от времени поглядывал на ее красное, мокрое лицо. Она безмолвно улыбалась и вытирала лицо ладонью.

– Облачается раб Божий Алексей... в ризу правды... вот имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь...

И некому со мной, одиноким, было петь последний тропарь, и сам я его спел, один, светло и сурово, может, и мимо нот, а может, и верно.

– Ризу мне подаждь светлу! Одейся светом, яко ризою! Многомилостиве Христе Боже наш!

Я положил младенца матери на грудь и воздел руки. Сам, весь, превратился в одну хвалебную песнь Господу. Старухи подхватили за мной немудрёный мотив тропаря, дребезжащими голосёнками грянули:

– Яко ризою!.. Многомилостиве... Христе Боже! Наш!

После Таинства Крещения меня старухи угостили блинами из серой муки. Я давно не едал ничего более вкусного. Когда съел последний на моей миске блин, старуха, похожая на тощую девочку, вот на тебя, дитяtko, чем-то похожая, длинно, долго поглядела на меня и заплакала.

Среди ночи меня под руки, как Царя, отвели в мою избу. Я задираю голову и глядел на звёзды, пока мы медленно шли, перебирались через наметённые за вечер сугробы. Звёзды походили на маленьких се-

ребряных птичек. Они беззвучно щебетали. Там, немислимо высоко, в запредельной дали. Никогда мы там, человеки, не будем. Никогда не поглядим на звёзды вблизи. Что есть звезда? Сестра нашего Солнца. Так же пылает, так же тебя жжёт, и сожжёт, если близко подлететь.

Завернул сильнейший мороз. Если и жили в Саблине птицы, они все умерли. Все валяются в снегу ооченелыми комочками. А человек идёт. Ещё бредет. Ещё и на свет рождает человека. Нет предела жизни, кроме смерти одной. Смерть свята. Она Матерь. Она полуночная скорбная Богородица: уводит нас за руку от Мира людей в небесный Мирь. Дул ветер, обжигал нам лица: хозяину, он шел праворучь меня, легконогой старухе леворучь, закутанной во тьму платков с кистями, и мне. Я понимал: сейчас отморожу щеки. Вырвал у хозяина из-под цепкой рукавицы руку и закрылся рукавом.

– Што?! Морозика заел?!

– Да ветер! – выкрикнул я из-за руки.

– Сивер дует! Злой!

Мы уже подходили к моей избе.

– А не страшно тут тебе, батюшко?!

Хозяин орал как на пожаре.

Сквозь вой ветра мало что было слышать.

– Нет! А кого тут бояться!

– Ну! Есть ково! Волков! Ай белых медведёв! С моря прийдуть!

Я весело махнул рукой.

Вошел в избу. Запер дверь на задвижку. Выдохнул. Пар за клубился, я стоял в клубах густого сизого пара, как лошадь среди метелицы. Чего ради мне бояться? Из озорства, а может, из упрямства я вернулся к двери и открыл её изнутри.

Лёг спать в одежде. Не мог согреться. Надвинул треух на лицо. Дышал в него. Молитву читал. Винно-красное личико младенца, его сперва узко-раскосые, потом вдруг широко раскрытые, иконно-круглые глаза так и стояли передо мной. Плыли во мраке, маячили вспышками радости, делали таинственные круги, возвращались. И запах, запах молока в ноздрях, молозива, коровий, сладкий, бабий запах. Возвращение. Вернуться. Передо мной, как на иконе, встали из тьмы люди, а быть может, уже святые. Моя жена и двое моих детей. Я понял: их нет на свете. Убили? Захворали и умерли? Никто не знал, и я не знал. Один Бог знал. Я ушёл от них на войну. Где моя война? Где моя семья? Где я теперь?

Мне показалось: дверь скрипнула. И шаги почудились в сенях, осторожные, мягкие. В валенках движется тать, а может, в пимах. Я сбросил с лица треух и приподнялся на локтях, слушал. Тихо, тихо двигалось по сеням Живое, жизнь на то и создана, чтобы двигаться, шевелиться, лететь, идти, ползти. И ни ножа у меня под сырою холодной подушкой, ни топора под нарами. Чем буду сражаться?

А нужно ли сражаться?

Я сидел на кровати и таращился во мрак, беременный безумием. Тихо, говорил я себе, тихо, не шуми, ты тут есть и в то же время тебя нет. Застыл, глыба льда. Глубоко, далеко под слоями льда стучало сердце. Стучала жизнь, просила выхода. Выхода не было. Сейчас откроется дверь, и что я скажу, когда увижу?

Кого? Что увижу?

Дверь из сеней в комнату подалась. Я сидел ледяною фигурой. Тихо, очень медленно в избу вошла женщина. Шуба, тряпки, платки, шарфы.

Она сбросила рукавицы. Медленно разматывала платки, бросала на пол. Хрипло дышала. Из-под платка в лунном свете, сочащемся из бельмастого окна, сверкнули русые косы. Женщина низко опустила лицо. Что она увидела на грязном полу? Мои следы? Зверьи, птичьи письмена?

– Зачем ты здесь?

Молчит.

– Кто тебя привез сюда, на край земли?

Молчит.

И я, я ведь знаю, кто она. Но сам себе про это молчу.

Нельзя про это говорить.

Никогда. Никому.

Надо с ней говорить. Она ответит. Пусть хоть выдохом, хоть смехом.

Хоть заплачет.

– Ты пришла... чтобы...

Я догадался.

– Мне сказать... о моей...

Нельзя договаривать. Нельзя человеку знать часа своего. Никто не знает.

Она вскинула голову и повернула ко мне лицо. Полной Луной забелело оно в холодной, замогильной темноте избы.

– Я очень сильно болею. Страшно болею. Никто не лечит. Нечем лечить. Я далеко на Севере. Потерпи немного. Тебя привезут ко мне. Мы увидимся. На горе себе увидимся. Нам бы...

Опять молчит.

А я слушаю её молчание.

Господи! Только пусть не уходит! Никуда! И никогда!

Слушаю, молчу и дрожу.

– Лучше... не встречаться. Беда будет... и сказать не могу, какая... беда, беда, все мы в беде... мы из неё не выберемся... Я бы хотела... хотела... чтобы ты был героем... героем... но ты не герой... нет... но я так... так тебя... нет, нет, не слушай меня, радость есть, есть... есть радость, большая радость... её только задавили, задушили... ты слышал... ты всё запомнил, всё... прости меня. Прости... если сможешь!..

Я хотел сказать ей: сядь, Душа моя, вон табурет, устала ты, – и не мог.

И она замолчала.

Отвернулась. Ждала. Чего? Слова моего?

Кончились слова. Зачем Душе слова? Она же без слов. Дышит.

Медленно, как и вошла в избу, шагнула к двери, вышла в сенцы.

Я услышал, как отворилась и захлопнулась дверь в ночь, мороз и звёзды.

<...>

Приказ, я ждал приказа. Есть власть, и есть человек, её слуга. Я пребывал слугою Господа, и я смирялся перед властью страны моей: ведь я сам возносил молитвы за здоровье владык наших в каждой Ектенье. Приказ раздался с ясного многозвёздного неба. Меня срочно вызвали в Туруханск. Я ехал в телеге, лошадь еле плелась. Ехал в нартах, на собаках: десять могучих собачин в нарты запрягли, впереди сидел каюр с деревянной длинной палкой, позади я, в тулупе необъятном, меховой горой. Собаки сперва бежали дружно и весело, потом вдруг стали,

зарычали, сцепились лапами, зубами; передрались. Я сидел и глядел, как псы дерутся. Вот так и люди грызутся; и кто нас разнимет навеки, какой каюр?

Господи, зачем Ты положил горем нашим, на все времена, ненависть и войну?

Ночевали мы во всяких избах, и в зажиточных, и в нищих. И в нищих избенках люди были добрее и теплее, а в богатых срубках – надменнее и жаднее; хорошо каюр взял с собой в дорогу кожаный мешок с провизией, и время от времени, пока мы ехали, вытаскивал из мешка разную еду и мне, не глядя, через плечо совал: то вареное яйцо, то кусок солины, то вяленую кумжу. На морозе я не мог угрызть мясо и рыбу: они превращались в камень. Я дрожал от голода и смеялся над собой.

Прибыли. Сгрузили меня с нарт на машину, и градоначальник повез меня в больницу. Чертыхался. Полбольницы народу умерло от неизвестной инфекции. В городе тоже люди начали помирать. Меня призвали определить болезнь и спасти оставшихся. Господи, молился я, дай сил и вразумления! Вошел в палату, поверх маски оглядел больных. Подошел к одному, откинул одеяло. Рубаху задрал. Так и есть. Красно-розовые пятна по животу. Сыпь. Больной положил руки на лоб и сморщился.

– Голова... раскалывацца... дохтур...

Я укрыл его тощим верблюжьим одеялом и возвысил голос.

– Всё белье в прожарку! Дезинфекция! Дезинсекция! Всей больницы! Уничтожить вшей! Где хотите раздобыть лимонов! Ударные дозы витамина цэ! У кого осложнения на сердце – камфора внутримышечно! Влажная уборка!

– Война ить идет... а нам солдатиков привезли, а у них вши... мы-то думали, изничтожили... в стирку портки да гимнастерки... а тут вон...

Нянечка топталась возле меня, лепетала, слезами заливаясь.

Война. Где-то шла война. Далеко от моего ссыльного Севера. Ан нет, и сюда добралась. И стала косить людей.

– Дохтур... ково паралик разбил... кто ослепши, не видит уж ни шиша...

Я шёл по палате, как вихрь, откидывал и набрасывал на людей одеяла. У всех сыпь. Все стонут.

– Врачи где?!

– Ах, с нами крестная сила... Господи, помози... перемёрли почти все дохтура-то... одне нянюшки остались...

– Хоть один врач?!

В палату медленно вошёл человек в длиннющем белом халате. Полы халата били его по пяткам. Я подошел и быстро, нахально расстегнул на его груди пуговицы халата, рванул воротник рубашки. Сыпь.

– Почему вы, инфицированный, не ляжете на лечение?!

Доктор покривил рот. Так он пытался улыбнуться.

– Кто же бы их всех... лечил...

Показал на всех глазами. Рукой не было сил показать. Руки у него так и висели, веревками вдоль тела. Он качнулся, как пьяный, я подхватил его, довел до койки и усадил. Сам раздел его, до нижнего белья. Снял с ног его обувь. Закинул ему ноги на матрац.

Подумал и стащил с него сорочку и кальсоны. Он не сопротивлялся.

Я обернулся к нянечке. Швырнул на пол бельё врача.

– Стирка! Дезинсекция! Руками не прикасайтесь! Щётка, совок, ведро!

Нянечка ушла, причитая, уткой переваливаясь с боку на бок.

Больные в палате молчали.

Я понял, почему меня вызвали из Саблина.

Все врачи туруханской больницы умерли от сыпного тифа.

Я боролся с тифом в Туруханске, а время шло. Ход его неумолим. Нам надо это понять и принять; а мы всё встаем, кричим и плачем, время теряя. Не теряй Времени, дитя; обними его, прижми к сердцу, только сердце способно Время вместить, всё сразу, целиком, навсегда.

Во Времени раздался приказ, предсказанный мне моею Душой. Мне приказ тот сначала по бумаге прочитали, потом устно изъяснили, потом на меня наорали, что тяну время: не медли! сутки тебе на сборы!.. – и я подумал в который раз: почему человеку, что снаряжается в дальний путь, так мало времени отпущено на то, чтобы понять себя, других живых, всех мёртвых и бьющееся сердце свое. Вещи, что такое вещи? Все-возможные ложки, кружки, кисеты, ящики, коробки, тряпки, кастрюли, мешки, узлы и торбы – что это? Человечий скарб кладется в ёмкости, укладывается аккуратно, если время есть в запасе, или швырнется в котомки не глядя, если нет времени. Нет времени! Его и правда нет! Его можно взглядом пронизать. На себя, как мясо на острый вертел, насадить. Ты вращаешься, Мирь горит под тобой, и ты горишь, а Время твоё на великом огне поджаривается и становится твоею едой. Рыбой твоей, хлебом твоим, питьём твоим, и пьёшь ты Время жадно, хочешь выпить до дна, чтобы больше никогда тебя не мучила жажда. А дна нет. Всё нет и нет. Глубок сосуд, не выпить, не вычерпать. Бездонен. А ты от горя безумен. Радости желаешь! Праздника! Вот он, праздник, тебе: смерть вокруг.

Смерть людей. Смерть твоя.

Кругом смерть. Всюду смерть.

Так зачем ты спасаешь от смерти людей? Разве не благо она? Разве не прекращает страдать человек, обнимаемый ею крепко и цепко на краю бытия, уводимый ею?

Я собирался быстро, я уже умел быстро собираться в дорогу. Заплечный мешок, кружка, ложка, ножик, и в путь. Ножницы – нужны. Скальпель – нужен. Шприц, игла – да. Крест нательный – на мне. Идёт война. Нет у меня оружия. Моё оружие – Бог. Самое мощное. Самое победное. Навылет. Умри и возродись. Я тоже сражаюсь. Моя правда? Нет. Божия правда. За Ним иду. Его проповедую. Им излечиваю! Им спасаюсь.

– Ну как, батюшка врач, готов к труду и обороне?! Эк, шибко как вещички-то сложил! Хвалю! Давай в авто шуруй! Опять на севера помчим!

Я застыл с дорожным узлом за плечами.

– Как на севера? А я думал...

– Думай, да башку не сломай! Приказано в Дудинку тебя доставить!

Я закрыл глаза и представил себе карту, и извивы рек по ней, и синий узор Енисея, и устье его широченное, и в памяти моей всплыло это название, порт Дудинка, да, точно, смешное такое имечко, детское. Дует дитя в дуду. Песню играет.

– А там что... в больнице работать?

Я знал, что веселый молодой, в лисьей ушанке, охранник ответит.

– Не-е-е-ет! На корабль погрузят! На ледокол! Ну так нынче и все ледоколы в стране воюют! И поплывёшь, горемычный! По морюшку-

окиану! На запад! На пересылку! А там уж начальство решит, куда тебя заткнуть, и надолго ли! А может, и на всю жизньюшку!

Я плотно закрыл за собою дверь, и мы оба потопали по хрусткому снежку к машине. Ярилось Солнце. Заливало нас ледяным жёлтым молоком. Краснощёкий охранник, смеясь, с лязгом распахнул дверцу.

– Садись, доктор! Как царя повезу! Тепло в таратайке у меня! Еду-то прихватил? А то у меня с собой и чекушка есть! Оно, конечно, в дороге ни-ни, а на привале – можно! Да и закусь есть! Корюшка копченая! Ум отъешь!

Я втиснулся в кабину. Закрыл глаза. Увидел в незрячей мгле икону Господа Христа. Спас Нерукотворный. Господь широко, строго, необъятно, всем широким холодным окоёмом глядел на меня. А зрачки его, в сердцевине широко подо лбом расставленных глаз, горели ночным пламенем. Скорбный рот дрогнул. Через миг еле заметно, чуть улыбнулся. Улыбкой Он меня благословил и укрепил.

Проехали много ли, мало ли, не помню. Остановились среди снегов. Охранник не заглушил мотор, он так и тархтел на морозе. Парень деловито ощупал на бедре кобуру, вынул из торбы чекушку и завернутую в промасленную бумагу корюшку, отпил из бутылки, крикнул и обернулся ко мне, смиренно сидящему сзади.

– Держи! Твое здоровьишко, доктор! Не болей!

Я подержал в руках чекушку, погрел.

Глотнул.

Взял из рук охранника кусок копчёной жирной корюшки. Ел.

Ел и плакал. Слезы капали на рыбу, поливали её.

Стар я и печален стал, что ли, так спокойно и презрительно думал я о себе.

Водка огнём разлилась по телу, и я ощутил, что промёрз. Согревался.

Так, в пару крупных глотков, мы и допили охранникову чекушку. Доели корюшку. Охранник выдохнул водкой и тихо, прижмурясь, как кот, засмеялся.

– Я тебя до первого станка довезу. А дальше не поеду. Дальше – на собаках! Хорошо ты укутан? Не околеешь?

Я не мог говорить, кивнул, и он мой кивок в зеркале увидал. И опять смеялся.

– Живучий ты, доктор! Дай Бог тебе здоровья!

Сказал и прикусил губу; я в зеркале видел.

Про Бога ему нельзя было вспоминать. Бога власти давно запретили.

Зачем же власти держали меня при себе? Почему сразу не расстреляли?

Кто я такой был для них, сильнейших? Может быть, тоже сильнейший?

А равный равного ведь не убивает, так?

Что ты врёшь всё, сказал я молча сам себе, что сочиняешь, равный, неравный, захотят – и убьют, и делу конец.

Пронеслось пространство, и укатилось Время. С ним машины, собаки, лошади, телеги, олени. Привезли меня в Дудинку. Прямоком в порт. В длинном, как рыба, доме на берегу, у самой кромки зальделой воды, накормили, напоили. Я ел и пил как во сне. Мне снилась моя жизнь. Я хотел совершить в ней подвиг. Хотел геройства. Хотел умереть в криках и знамёнах, с боем и славой. Хотел на войну. А вместо войны меня держали взаперти. Слава Господу, я тут, в подзвёздной тиши, под изумрудными

веерами и красными кружевами полнощного Сиянья, делал свое дело: лечил людей.

Мне кинули: сиди и жди, теперь уже скоро. Пришвартовался ледокол, меня к нему повели, спустили с борта трап. Я поднимался по трапу на корабль, мой мешок бил меня по спине. Навстречу мне двинулся моряк. Бушлат расстёгнут, бескозырка сдвинута на затылок. Уши на морозе красными лампами горят. Я понял: не капитан, простой матрос. Он протянул мне руку, и я пожал её.

– Мы заключённых везём, с Чукотки и Новой Земли, на пересылку. Вот вас захватили и ещё четверых, тут. Вы не в трюме поплывёте, в каюте, с этими четырьмя. Жратвы особой нет. Запасы для команды. Разносолов не держим. Нам приказано доставить вас на остров Анзер. Плыть долго. Не виноват, ежели оголодаете. В трюме народ помирает, мы в море выбрасываем, рыбам. И даже в мешок не зашиваем, мешков нет. Есть орудия и снаряды. И то хорошо. Всё понятно?

– Всё.

– Ну и лады.

На палубе никого, кроме нас. Морячок махнул рукой: мол, иди вон туда. Я пошагал.

Вошёл в тесное железное брюхо корабля, увидел отворённую дверь и шагнул туда.

На железных койках, привинченных громадными болтами к стенам каюты, сидели люди. Четверо. Они воззрились на меня мрачно, тягуче, липко. Сухопарый мужик с серебряной фиксой во рту, в закатанных до колен штанах показал мне на рядно, неряшливо расстеленное у стены.

– Вот здесь спать бушь.

Мужик в волчьей шубе до пят ласково пояснил:

– Все четыре койки заняты. Не обессудь.

Я молча перекрестился и сбросил с себя тулуп. Потом снял белый халат. Узники увидели мою бывалую рясу.

– Ух ты! Да ведь Бога-то никакого нет!

Я молчал.

Потом выпростал из-под рубахи нательный крест и навесил его поверх рясы. Ладонью к сердцу прижал и так ладонь держал, будто крест Господень есть малая птичка, и только я руку отпускаю, взлетит и улетит, и поминай как звали.

Медный крест, крупный, грубо сработанный, под ногами Распятого череп Адама, зелёная накипь Времени на потертой красной меди проступает, иззелена-сизая, ледяная, вот она, смертная пытка, и Он её претерпел, перенёс, за нас за всех, да воскреснет Бог и разыдутся врази Его, и да бежат от лица Его вси ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут... яко тает воск от лица огня...

Я не замечал, дитя мое, что я уже читал Давидов псалом вслух, а все люди, четверо, сидят и слушают, и думают, каждый о своём, и глядят на меня исподлобья, гадают, враг я или друг, священник я истинный или маскарадное то одеянье, я подсадная утка, а может, я английский шпион, а может, я тевтонский прихвостень. Кто я? Зачем я здесь?

Я закончил молитву, взял в пальцы крест и поцеловал его.

И каждого в каюте осенил крестным знамением.

Трое мужчин робко перекрестились. Мужик в волчьей шубе пожал плечами.

– А што же твой Честный Животворящий Крест, твой Бог нас не спас? А на мученья поволок? Где Он, твой Бог? Где спит-почиват?

Я молчал.

– Што молчишь? Нечево сказать?

Я молчал.

– Ну давай, што тушуешься! Ты жа поп! Балакай проповедь твою!

И тогда, девочка моя, я глубоко, до дна лёгких, вздохнул и выдохнул:

– Все людские страдания – Божии испытания. Они посланы нам, чтобы мы их приняли, их переносили, за них благодарили и их преодолели.

Узники молчали.

А что было говорить.

Мы плыли.

Плавание.

Мы рыбы.

Люди, они рыбы. Они плывут, носами разрезая воздух.

Мы плывём во Времени, и мы уже длинные, железные небесные рыбы, и мы стальные глубоководные рыбы, несём в брюхе смерть и других людей, так железо отныне беременно людьми.

Люди населяют корабли. Люди завидуют рыбам. Люди хотят дышать водой и этому не могут научиться. Люди не могут плыть там, где плывут тяжёлые небесные птицы, растопырив железные крылья, а могут только набиться в животы серебряных небесных птиц и там задыхаться от нехватки воздуха, от страха разбиться.

Мы плыли. Корабль качало то с боку на бок, то с носа на корму. Бортовая качка, килевая качка. Я плохо переносил морскую болезнь. Утешал себя: я привыкну, привыкну.

Мы плыли. Что мы ели? Я не хотел есть. Я ничего не хотел.

Почему моя жизнь принадлежала другим людям? Они мне приказывали, и я плыл. Приплыву, мне прикажут сойти на берег. Мне прикажут умереть, и я умру. Почему я их слушаюсь? Я должен восстать.

Если я восстану, меня убьют.

Ну и пусть убьют!

Но я хочу жить.

Зачем тебе такая жизнь?

Я лежал на полу, около меня садился на корточки мужик в волчьей шубе, закуривал папиросу, предварительно смяв её пальцами и зубами, и просил:

– Расскажи, поп, о Боге.

Я рассказывал.

Говорил очень мало. Скупое. Не мог. Тошнило.

Я видел – люди в каюте мною развлекались.

– Его распяли.

– Ево правда распяли? Хах, ето больно!

– Потом Он воскрес.

– Чёрт, воскрес! Етово быть не может! Ищо ништо не воскресал.

– И верно, – подавал голос лежащий на верхней правой койке мужик, сверкая в ухмылке серебряной фиксой, – помёр так помёр, што ето за враньё, брехня.

– Воскрес.

– Врёшь ты всё!

– Воскрес.

– Ха, ха!

– Воскрес! На третий день!

– Ха, ха, ха!

Мужик со шрамом через всю рожу, лежащий на нижней левой койке, бормотал невнятно, как пьяный:

– Ты, ты... совесь-то имей, небылицы в лицах... што чешешь языком... язык твой без костей...

Я умолкал. Отворачивал лицо к стене каюты. Кусал губы.

Килевая качка. Мы то взъезжали на гребень волны, то валились вниз стремительно, так катятся салазки с высокой снеговой горы – прямо во тьму, во смерть. И разбиваются.

– Ну, чо, чо ты замолк. – Это с верхней левой койки бурчал одноглазый мужик; глаз ему выкололи ножом в драке; и я тогда не знал, что пройдет великое Время, и я тоже глаза лишусь, ничего я не знал, кроме того, что мы плывём. – Валяй, сочиняй! Скучота тут, с ума спятим. А ты про Бога валяй, романист. Антиресно веть. Ну, воскрес, и што? Што дальше-то приключилось?

– Пришли жёны... мвроносицы... ко гробу Его... а там на камне Ангел сидит.

– Ишь! – Это четвёртый наш мужик, с нижней правой койки, зубы как расчёска, восклицал, будто икал. – Ишь! Аньдел! А ты, врун, вот скажи, ты хоть разок Аньдела видал?! А! Молчок. Не видал! То-то! Што молчок, зубы на крючок?!

– И говорит Ангел жёнам: нет Его во гробе. Воскрес!

– Вот заладила сорока Якова. Воскрес, воскрес! А видел-то ево хто?!

– Ученики.

– Ишь! Он ищо и учителем работал! А жалованье ему хто платил?! Али, хошь сказать, трудился даром?!

– Ну, ты, сказитель, сказку-то дальше вали, не спи. Мы тебе кильки за сказку дадим! У Федьки в сапоге есь, солёна. Охрана оделила.

– Апостол Фома не верил. Он к Фоме пришел и пробитые руки протянул. И сказал: вложи персты свои в раны Мои.

– Ха! Ха, ха! Это и я так-то могу! Израню себе ладони скобой! Кровища потекёт! И буду теми ручонками Фомке тому в рожу тыкать! Да рази таким-то фокусам поверишь!

– Фома поверил. А Господь сказал...

Я умолкал, дитя, и плакал.

Глядел в железный потолок каюты. Горячие слезы текли по холодным щекам.

– Што нюнишься?!

– Болтай языком! А то кильки не получишь!

– Сказал: блаженны не видевшие и уверовавшие.

– Штой-то больно мудрёно балакашь!

– Да нет, Михайло, ну што ты ево заклевал. Он жа поп. Он жа и должен про веру.

– Верь, не верь, всё одно помирать.

– С верой вроде бы легше считаецца.

– А ты почём знашь? Помирал рази уже?

– Хто из нас не помирал. Все помирали.

– Я вот не помирал.

– Да хошь бы один вернулся оттедова! Да разъяснил нам всем, дуракам, што там есть.

– Ничево там нету.

– А ты почём знашь?

– Почём, почём, в морду кирпичом.

– Глянь-ка, поп ревет!

– Как младенец. Малодушной.

– Ну, давай, поп, пореви! Оплачь судьбину! А мы подрыхнем. Спать охота. Укачиват.

– Да, колыхат знатно. Все кишки наружу!

– А кто знат, сколь ищю плыть?

– Нихто не знат. Плыви, и всё.

– А потом сдохнем, и выкинут за борт.

– У нас поп есь, отпоёт.

– А может, он наперво сдохнет.

– А мы не попы, отпевать не умем.

Так плыли мы и плыли, во брюхе великанской железной рыбы, подобно Ионе во чреве кита, и я хотел увидеть, что нас ждёт, и закрывал глаза, и молился, и тщился рассмотреть фигуры и знаменья, восстающие со дна глазного, со дна неведомых времён, – и не мог; дребезжание ледокола, холод железного пола, когда из-под спины вбок, как змея, теряющая шкуру, уползала грязная рогожа, заслоняли чаемый Миръ Невидимый; и я молился только об одном: Господи, дай ты мне силы ещё на земле ли, на море, посредине пучины бездонной, пожить, и да, Господи, вот из этой железной кружки, путевой подружки, угостят, ведь не звери, ведь люди, горячего, дымного, страшного, вечного чаю ещё попить.

Что там колыхалось, в том море? Что я помню? Чего не помню, дитя мое, и зачем я рассказываю тебе про неслучившиеся подвиги мои? Все неслучившееся неслучайно. А то, что случилось, – задумано Богом вдвойне и втройне: ты становишься перед Его великим, необъятным зеркалом, ты теряешься в его просторе, в его Вселенском размахе, ищешь себя глазами, где же это я, в каком уголку Мира Божиего отразился, ведь это только диавол не отбрасывает тени и не имеет отражения, а всякая тварь имеет; и вот, море то северное, великанское, тот, усеянный плахами плывущих гигантских льдин, Северный Океан, тот солёный Северный Космос, его же довелось мне пройти-измерить судьбою, пройдя из конца в конец, – эта сумасшедшая вода, что качала, качала нас в колыбели, и мы сами не знали, родились мы, умерли уже или не родились еще, довременная качка, с боку на бок, с носа на корму и обратно, изводила нас и убаюкивала нас, и мы, четверо мужиков и я грешный, грешно мечтали о подводном царстве, мечтали утонуть и перестать страдать; открывать настежь мёртвые глаза там, где медленно, важно плавают яркие полосатые рыбы, где лежат на дне ржавые, обросшие водорослями и ракушками скелеты некогда красивых живых кораблей, думать без мыслей, слушать без ушей, плакать без слёз, радоваться без радости. Спросишь: а разве такое возможно? А кто поручится, что там, куда мы все уйдём, останутся при нас все наши чувства? И все пять привычных, и страшное шестое, то, что заставляет нас глядеть в колодцы Времени и видеть там Невидимое, и слышать Неслышимое, и смертно любить Бессмертное?

Как рассказать тебе о смерти? Ты такая маленькая, такая юная. Ты не поймёшь даже самого этого слова. Посмеёшься. Плечами пожмёшь. Мы всё время думаем о ней, но вслух её имени не произносим. Мы пережили в Северном Океане морской бой и переплыли смерть. Я молился, и, возможно, случилось чудо. Наш ледокол, сторожевик, и номер военный белилами боцман намалевал у него на борту, чудом

отстрелялся от вражеского тяжёлого крейсера. Ледокол пострадал, да, а на крейсере палили в нас, да всё мимо; Господь отводил от нас вражеские торпеды. Раненые, с пробоиной, мы ушли вдаль, да и крейсер повернул прочь, мы наблюдали. Битва вспыхнула и оборвалась, как во сне. Я молился за героев, а пробоина пришлась выше ватерлинии. Матросы откачали воду из трюма насосом; людей, кто в трюме плыл, спасли, но иные захлебнулись, их вышвырнули в море. Капитан велел утяжелить ледокол по здоровому борту. Я спустился в трюм. Лучше бы я не спускался туда. Я привык к виду людских страданий, а таких искажённых болью лиц я не видел ни в одном госпитале, ни в одном своём лазарете.

Деточка моя, я проповедовал им. Иногда слово это бинт, останавливающий буйную кровь, это блаженная марля, пропитанная нежным пахучим маслом. Я говорил и сам себя не слышал. Понимал: надо просто говорить, говорит, и легче станет. Пробоину заткнули старым брезентом; вот так и я, собой затыкал бреши и сквозные раны в людской плоти и людских душах.

Бой забылся и не забылся. Память – зеркало; в ней Время плывет и гаснет, уплывает, мерцая, а потом зеркало поворачивают чужие незримые, сильные руки, и как вспыхнет в дальнем углу тьмы упрямый, торжествующий свет! Я состоял из мрака и света, и, говоря Божие слово, я понимал всю малость мою и весь грех мой. Беда человека в том, что трудно, а бывает и невозможно подняться ему по золотой лестнице Иакова от тьмы – к могучим Божиим лучам. Человек смеётся над собой, смеётся над Богом, не верить легче, чем верить! Вера есть труд! А душа, что ж, она так устаёт, она так часто хочет отдыхать. Вечного отдыха хочет.

Закрывать глаза... и не проснуться... зеркало – разбить...

Николай

<...>

Мы все больше говорили друг с другом. Совместные операции нам развязали языки.

Мы спорили. Даже когда я видел: он прав, я до хрипоты спорил с ним, утверждая мою мысль.

Я показывал, доказывал, приказывал. Он смотрел мне в рот и, кажется, соглашался со мной. Может, он просто был вежлив. Воспитан. А может, признавал мою правоту.

Я видел: он у меня учился.

Всё же война меня многому научила. И я в иных аспектах хирургии чувствовал себя сильнее. И даже наглее. Нахальнее. Да я и был наглец. А он – он был Божий человек.

Иной раз мы схватывались вовсе не на почве хирургии. А так, спорили о жизни. Сражались, орали, хватали друг друга за грудки, трясли. Чуть пощёчины друг другу не давали. Хотя были к мордобитию близки. Я никогда не думал, что мой божественный доктор может так разъяряться. И было бы от чего! Идейные стычки! О жизни, видишь ли, два военных врача на досуге беседуют! Так беседуют, что хоть всех святых выноси!

Этак-то страстно, сумасшедше мы пикировались и в операционной. Над раскромсанным, разъятым телом больного.

Лежит на столе распаханное человечьё тело. Вспаханное поле. Разрезаны мышцы, пережаты сосуды, рассечена брюшина, разведены по обе стороны смерти сухожилия и нервные окончания. Человек устроен очень просто. Я устройство человека знаю наизусть. И у всех оно одно и то же. Нет человека без вегетативной нервной системы, и нет человека без хрящей и костей, и нет человека без сердца.

За окном надувала березовые почки туманной зеленью холодная весна. Круглым древним зеркалом отражала землю и воду холодная Луна. С моря дул резкий сильный ветер, гнул деревья и кусты.

– Вот она, весна! Весна и война! Идёт, идёт ваша война! Ваша – всегдашняя! Ну что, довольны! Вот, да, режьте, режьте! Врезайте! Любуйтесь! И, что самое интересное, вы тут будете копать, ковыряться, хоть целый век все тела расковыривать, а души – не найдёте! Нет её! Нет! Нет! Нигде! – Я погружал руки в развороченный живот. – Живот, он же жизнь! Так, кажется, по-вашему, по-церковному?! Ну? Где она? Где душа?! А?! Я вас спрашиваю! Что молчите! Или, может, она в конкретном месте прячется?! Под брыжейкой?! В поджелудочной железе?! В селезёнке? Ну? Где?!

Я зло, с грохотом бросал скальпель и зажимы на укрытый стеклом подсобный хирургический стол. Окровавленные железки скользили по стеклу и скатывались на пол. Операционная сестра подбегала и живо подхватывала инструменты с пола: кипятить.

Доктор подходил ко мне. Я вцеплялся глазами ему в лицо. Он не выглядел ни растерянным, ни обескураженным. Он стоял передо мной безоружный, а я видел, чувствовал его вооружённым до зубов; и чем? Его дурацкой, необъяснимой верой. Всего лишь верой! Да забодал он уже меня этой верой, бык мирской!

Он протягивал над раскромсанным больным на столе руки. Ладонями вниз. Я мог поклясться, что из его ладоней на больного, пребывающего в наркотическом сне, льются потоки светящегося, солнечного тепла. Я, на расстоянии, осязал это тепло. Изумлялся. Ужасался. Но ничего не говорил.

– Нет души, говорите?

– Нет! Её не-е-е-ет!

Я кричал, как обречённый. Так кричат на плахе казнимые. Так кричат самоубийцы, прыгая вниз со страшной высоты.

– Так вот неправда ваша. Она есть. – Он начинал дрожать. – Есть, есть... есть...

Я бы мог поклясться: на моих глазах рана затягивалась.

Бред. Фокус. Шарлатанство. Небыль. Быть такого не может. Нигде, ни с кем и никогда.

Я переставал видеть и слышать. Стоял, как деревянный болван. Потом очухивался. Глядел на аккуратно зашитый разрез. Доктор уже ставил перчатки, уже тщательно, долго мыл руки под неистово греющим оловянным ручкомойником.